

Стихотворения



Не уставай,
 море мое.
 Бурли! —
 Ты слышишь? —
 Громче давай!!
 Сердце мое,
 не остывай.

В ПУТИ

Берега зеленые-зеленые
 за кормою медленно растаяли,
 волны
 цвета неопределенного
 возле парохода ходят стаями.
 Вряд ли полдень может быть удачнее.
 Тишина.
 Вода, как будто олово...
 Девушка сидит на чемоданчике,
 на руки склонив устало голову.
 Ласковая,
 худенькая,
 стройная, —
 как же пассажирам не дивиться ей?
 Едет медицинскою сестрой она
 в бывшую заштатную провинцию.
 По дороге вязкой,
 будто вспаханной,
 медсестра придет поздним вечером
 в городок,
 еще смолою пахнувший
 и пока
 на картах не отмеченный.
 К борту парохода с плеском ласться
 волны
 цвета неопределенного.
 Едет девушка в цветастом платъице,
 в город свой заранее влюбленная...

* * *

Девчонки опаздывают на свиданья.
 Так принято.
 С этим надо считаться.

К солнцу летящие флаги...
 Улыбки прохожих не замечая,
 мальчишка шагает рядом с девчонкой...

Ты не мешай им.
Ты не смущай их.
 Давай отойдем в сторонку.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Смертью, которой грозят нам
 враги, обретем мы бессмертье...

Муса Джалиль

До рассвета семьдесят восемь минут.
 На рассвете
ключ заскрипит в замке,
 на рассвете в камеру люди войдут
 и пролают приказ на чужом языке.
 А потом будет десять визжащих дверей,
 коридорный сквозняк,
молчаливый конвой.
 Будет яма на тесном тюремном дворе
 и тяжелое небо
над головой.
 Автоматчики туго шеренгу сомкнут.
 До рассвета семьдесят восемь минут.
 И сейчас,
на распухшие пальцы дыша,
 задыхаясь,
спеша,
обгоняя рассвет,
 пишет песню,
последнюю песню,
поэт
 чуть заметным обломком карандаша.
 Пусть от долгих допросов гудит голова,
 пусть больная рука тяжелее свинца...
 Но приходят
единственные слова,
 как приказ,
как присяга,
как клятва бойца.
 Пишет,
пишет поэт...

Сюда
 не мы
 нужны...
 И снова
 смотришь во все глаза,
 по коридору бредешь понуро.
 Но вот табличка.
 Написано:
 «Зав.
 Отделом литературы».
 В двери толк!
 И сразу —
 стоп.
 Дубовый стол,
 за столом —
 столп.
 Едва-едва удостоив взглядом,
 рычит:
 «Чего вам,
 собственно,
 надо?!»
 И ты объясняешь с предельным тактом:
 вот, мол...
 Стихи, мол...
 так-то и так-то...
 Зав,
 отрывая от кресла зад
 и багровея:
 «Сатира?!
 Снова?!»
 Мы
 работаем,
 так сказать,
 а вам все хаханьки, да?
 смешно вам?!
 Чему
 смеетесь?!
 (Да помолчите вы!
 Надо же быть
 таким бестолковым!)
 Тоже мне,
 ходят тут...
 «Обличители!»
 Воображают себя
 Михалковыми...»

Стучусь наугад в какие-то двери.
«Войдите!» —
 слышу, ушам не веря.
Издав вместо «Здравствуйте»
 тихий стон,
вхожу
 и кладу фельетон на стол.
Потом, как в бреду,
сажусь
 и жду.
А дядя смакует
дыма клубы,
а дядя курит,
кусая губы...
И вот,
 наконец, поднимает глаза,
видимо,
 взвесив все «против» и «за», —
голосом бархатно-нежным:
«Сатира...
 нужна,
 конечно...
Но вы бы писали
 басни,
и вам...
 и нам безопасней...»
Картинка загадочней всякого ребуса.
Вывод:
 иди и жалуйся.
Так вы говорите:
 сатира требуется?
— Пожалуйста.

К ВОПРОСУ О ПЕРЕСТРАХОВКЕ

Один мой знакомый
 придумал одну
песню
 с названием: «Про луну».
В песне —
 луна над рекою
 горит
и камешки
 в оной реке
 серебрит.

Песня как песня.
 Трехдневный труд.
 Сдерживая волнение,
 поэт в газету пошел,
 но вдруг
 взяли поэта
 сомнения,
 задели большую его струну:
 как это он принесет
 «про луну»?
 Как же он скажет: «Нате»?
 А вдруг редактор —
 лунатик?
 Примут за выпад.
 Скажут: намек...
 Поэт
 рисковать собою не мог.
 И вот, подумав
 минуту
 одну,
 своими
 опытными руками
 он переделывает
 «Про луну»
 на более выдержанное
 «Про камни»,
 считая,
 что не на что больше пенять
 и что напечатание
 обеспечено...
 А я бы советовал
 камни
 снять.
 Вдруг у редактора
 камни
 в печени?

КАК ЭТО НАЧИНАЕТСЯ

Очертанья машины неотразимы.
 Остальное —
 не очень обычно для глаза:
 подъезжает к школе
 в роскошном ЗИМе
 ученица второго класса.

И хотя это дико,
хоть в это не верится,
но она,
на землю ступив едва,
говорит шоферу,
хлопая дверцей:
«Машину
подашь
в два».

И шофер,
здоровенный дядя,
уезжает,
сумрачно глядя...

Тане
только девять,
Таня утром встанет,
Тане
можно делать
все,
что хочет Таня.
Озорные ямочки
на щечках «ангелочка».

Танечка
у мамочки
единственная дочка.
Потому так рьяно
и с таким стараньем
мама постоянно
жизни учит
Таню.

Как только «крошка»
шагнет до дверей,
читает нотацию мать:
«Твой папа начальник —
и в нашем дворе
не с кем
тебе играть».

Танечка маме верит
и не подходит к двери.
Семейство частенько в панике:
«Тане конфеток хочется!
Танечка хочет баньки...»
Я знаю,
чем это кончится.

С каждым днем она будет
 в капризах упрямей,
 будет наглой и злой,
 и, в конце концов,
 очень стареньким,
 милым папе и маме
 откровенно
 плюнет в лицо.
 А они будут ахать:
 откуда такое?
 Вспоминать,
 какой она нежной была,
 говорить,
 что ребенка испортили в школе,
 что общественность
 вовремя
 не помогла,
 говорить о Танюше
 без прежнего шика,
 причитать над случившимся
 долго и слезно...
 Дорогие родители,
 а ведь не поздно
 исправить
 ошибку!
 Если вам
 ребенок единственный
 мил,
 если вам
 судьба дорога его,
 распахните для девочки
 окна в мир,
 о котором не знает она
 ничего.
 Ведь потом она
 детства уже не вернет, —
 не умеющей жить
 не помогут слова, —
 вас
 и вашу слепую любовь
 проклянет!
 И по-моему,
 будет права.

«ИСПЫТАНИЕ»

1956

УТРО

Владимиру Соколову

Есть граница между ночью и утром,
между тьмою
и зыбким рассветом,
между призрачной тишью
и мудрым
ветром...

Вот осиновый лист трясется,
до прожилок за ночь промокнув.

Ждет,
когда появится солнце...

В доме стали заметней окна.

Спит,
раскинув улицы,
город,

все в нем —
от проводов антенных

до замков,
до афиш на стенах, —

все полно ожиданием:

скоро,
скоро!

скоро!! —
вы слышите? —

с к о р о

птицы грянут звонким обвалом,
растворятся,
сгинут туманы...

Темнота заползает
в подвалы,

в подворотни,
в пустые карманы,

наклоняется над часами,
 смотрит выцветшими глазами
 (ей уже не поможет это), —
 и она говорит голосами
 тех,
 кто не переносит

 света.

Говорит спокойно вначале,
 а потом клокоча от гнева:
 — Люди!
 Что ж это?!
 Ведь при мне вы
 тоже кое-что

 различали.

Шли,
 с моею правдой не ссорясь,
 хоть и медленно,

 да осторожно...

Я темней становилась нарочно,
 чтобы вас не мучила совесть,
 чтобы вы не видели грязи,
 чтобы вы себя

 не корили...

Разве было плохо вам?
 Разве
 вы об этом тогда
 говорили?
 Разве вы тогда понимали
 в беспокойных красках рассвета?
 Вы за солнце

 луну принимали.

Разве я
 виновата в этом?

Ночь, молчи!
 Все равно не перекричать
 разрастающейся вполнеба зари.
 Замолчи!
 Будет утро тебе отвечать.
 Будет утро с тобой говорить.

Ты себя оставь
 для своих льстецов,
 а с такими советами к нам

 не лезь —

человек погибает в конце концов,

если он скрывает
 свою болезнь.
 ...Мы хотим оглядеться
 и вспомнить теперь
 тех,
 кто песен своих не допел до утра...
 Говоришь,
 что грязь не видна при тебе?
 Мы хотим ее видеть!
 Ты слышишь?
 Пора
 знать,
 в каких притаилась она углах,
 в искаженные лица врагов взглянуть,
 чтобы руки скрутить им!
 Чтоб шеи свернуть!
 ...Зазвенели будильники на столах.
 А за ними
 нехотя, как всегда,
 коридор наполняется скрипом дверей,
 в трубах
 с клекотом гулким проснулась вода.
 С добрым утром!
 Ты спишь еще?
 Встань скорей!
 Ты сегодня веселое платье надень.
 Встань!
 Я птицам петль для тебя велю,
 Начинается день.
 Начинается
 день!
 Я люблю это время.
 Я
 жизнь люблю!

ВЫБОР

Вот здесь бы остаться! —
 Леса за окошком бескрайны.
 Подальше б от станций
 рвануть к себе ручку стоп-крана,
 сказать себе:
 брось, ты
 особенной доли не требуй!

Но будут гудеть поезда
и мелькать за окном запыленным
немые разбежки,
таежные, хмурые чащи...
Но кто-то
займет мое место
в вагоне стучащем
и будет мечтать
о путях,
 неизведанных самых,
и будут встречать
не меня
на далеких вокзалах!
Я струшу.
 Сбегу.
Будет песня моя не допета...

Нет, я не могу.
Не хочу.
Не согласен на это!
Нет, я не останусь!
Пусть душно и пыльно в вагоне, —
нет, я не устану
за ветром бросаться в погоню!
Пусть жребий мне выпал
без сна
 обходиться помногу,
но если есть выбор,
то я выбираю —
дорогу!

В ПОЕЗДЕ

Поезд
 по мостам пылил,
резал ночь с разгона...
Парень ехал в тамбуре
жесткого вагона.
На окно высокое
опершись затылком,
парень пил
 «Особую»
прямо из бутылки.
Он не брал закуски,
выл с тоскою пьяной:

— Еду я к Маруське,
 девке
 окаянной!
 Путь-дорога длинная,
 двадцать два
 дня...
 Улица
 Неглинная,
 примешь ли
 меня?
 Улица хорошая, —
 больше ничего, —
 громким было прошлое
 сына
 твоего.
 Повернула зимушка
 все
 наоборот...
 Колыма-Колымушка —
 северный курорт!
 Так что
 не утешит
 глупый разговор.
 Я ведь —
 отсидевший!
 Я ведь —
 во-о-р!
 Похрустят сотенки
 с месяц
 или два...
 Только...
 может, все-таки...
 нужен я?
 А?
 Или...
 как ни трогай...
 как ни гляди...
 мне опять дорога?..

 Парень!
 Погоди!
 Раз уж крыть нечем,
 может, помогу, —
 я тебе отвечу,
 парень,
 как смогу.

У тебя из многих,
как ты ни крути,
будут две дороги,
будут два пути.

Первый:

братцы-урки,
была не была! —
В темных переулках
темные

дела.

Может, он и легче...
Только, все сгубя,
этот путь

далече

заведет тебя.

Этот путь протянется
долгие

года.

Насовсем ты,

парень,

пропадешь тогда.

Слышишь? —

будет хуже,

сгинешь ни за грош!..

А насчет

«Не нужен» —

это

ты

врешь!

Ноешь про такое,

душу теребя.

Врешь,

чтоб успокоить

самого себя.

...Говоря по совести,

все вокруг

ждет твоих мозолистых,

сильных

рук.

Грубо,

не жалеючи,

кончу разговор:

будет потруднее,

чем

было до сих пор!

Голову ломаешь,
о судьбе скорбя?
Люди, —
понимаешь? —
Люди
 ждут
 тебя!

А в конце у повести
тихие слова.
Дело было в поезде
Ленинград — Москва.
Было тихо,
только
слышалось одно:
дребезжало тонко
в тамбуре
 окно.
Торопливо по лесу
грохотал состав...
Парень спал,
мозолистые
руки
разметав.

РЕЧКА ИНЯ

Над ущельями,
 над сутолокой круч,
над дорогой,
 убегающей вниз,
уцепившийся за солнечный луч,
жаворонок легкий повис.
Я его не слышу.
Для меня
жаворонок этот —
 не в счет.
Я пришел туда,
 где течет
маленькая речка Иня.
Что, казалось бы, такого
 в ней?
Ручеек течет меж камней.

Переплюнуть можно,
вброд перейти,
перепрыгнуть без усилий почти.
Речка, речка!

Понимаешь ли ты,
почему
по перекрученной тропе
я пришел твоей напиться воды,
я пришел за песней к тебе?
...В белой пене,
в тучах брызг
сгоряча

вниз,
в долину,
ты летишь с вышины,
вдохновенно и сердито урча
и локтями раздвигая валуны.

Холод тонких
мартовских льдин
ты несешь в темно-зеленом нутре...
У меня приятель есть один, —
он скривился б,
на тебя посмотрев.

Он сказал бы,
брови выгнув в дугу,
оглядев твой бешеный бег:
— Этих глупых

маленьких рек
я никак понять не могу.
Для чего они?

Кому нужны?
И вообще зачем в них
вода?

Если в речке
нет глубины,
разве ж это речка тогда?
Разве ж она сможет,
звения,
славу о себе
пронести?..

Ты прости его,
речушка Иня!
Несмышленный он еще.
Ты прости.

ОЖИДАНИЕ

Так
 любимых не ждут у порога.
 Так
 к больному не ждут врача...
 Пыль
 на рыжих
 степных дорогах —
 хоть картошку пеки — горяча.
 Люди мнут фуражки в руках,
 от полей глаза отводя...
 Я впервые увидел,
 как
 ждут дождя.
 Ждут,
 выдумывая всевозможные сроки,
 ждут,
 надеясь на чудо,
 ждут,
 матерясь:
 — Пусть дороги развозит!
 Плевать на дороги!
 Лишь бы дождь.
 Пусть тогда, хоть по горло,
 грязь. —
 А земля горит.
 От жары —
 как в броне.
 А земля говорит:
 — Помогите мне!
 Без воды,
 без дождя
 больше я не могу...
 Помогите!
 Ведь я
 не останусь в долгу! —
 Как ей скажешь:
 — Выдержи!
 Подожди! —
 Чем поможешь?
 Минуты, как вечность, идут...
 Люди ждут и молчат.
 Люди курят и ждут...

Ты мне пишешь:
в Москве у вас

снова дожди.

Снова дождь.

По бульвару опять не пройдешь.

Снова дождь.

По обочинам мчат ручейки.

Дождь идет по Москве —

теплый,

ласковый дождь...

Там скрываются от него, —

чудаки! —

надевают плащи,

открывают зонты,

начинают погоду ругать с утра,

ходят хмурые...

Если б увидела ты,

как, негаданно

вымахнув из-за бугра,

мчит,

дороги не разбирающий,

через поле

к нам

напрямик,

так пылящий,

будто пылающий,

сельсоветовский грузовик.

Председатель выпрыгивает на ходу,

он кричит,

а глаза блестят, как от голода:

— Будет

дождь!

Мне сейчас...

звонили из города... —

Пошатнулся.

И дальше, словно в бреду: —

Туча...

мне звонили...

свернула сюда...

к нам идет...

Если мимо, то...

быть...

беде...

Ты мне пишешь,
что вам надоела вода.

Напиши,
напиши мне об этой воде!
О дождях напиши мне!
О том,
как тяжел
воздух перед грозой...
На погоду не жалуйся!
Напиши,
чтоб он был, этот дождь,
чтоб он шел!
Пожелай нам ливня,
пожалуйста.

* * *

Любовь.
Мы об этом читали в книжках.

Любовь.
Мы такое понять не могли.
Но постепенно мужали мальчишки
и вот до нее доросли.

А помнишь —
мы с ней не хотели знаться,
и часто, пути для себя выбирая,
ее мы считали,
лет до тринадцати,
чувством,
которое все презирают.

Строгая кинжалы ножом перочинным,
ровесниц вгоняя сраженьями в трепет,
решали мы, что настоящий мужчина —
тот,

который девчонок не терпит,
а если случалось,
то знал любой,

смеясь,
читали на стенах прохожие:

Вова + Лида = любовь.

А тут — не такая!
А тут — не похожая.

А тут —
то близкая, то далекая,
пришла и выволокла на улицу.

Первая
 (мне говорили: легкая),
 верная
 (мне говорили: забудется!).
 Мне говорили:
 ни в коей мере
 любовь пошатнуть тебя
 не должна!

Мне говорили,
 а я не верил...
 Мне говорили так,
 а она
 опять будоражила и удивляла,
 то криком крича,
 то дразня,
 то играя.
 Смеяться и плакать она заставляла,
 и не было ей ни конца, ни края!
 Она была в жестах,
 в улыбках и взглядах,
 она была в ссорах,
 в словах откровенных,
 она была в каждом движенье
 и в клятвах,
 наивных,
 смешных,
 но действительно верных...

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ «СОВЕСТЬ»

...В девятьсот семнадцатом родился,
 Не участвовал и не судился,
 В оккупации не находился,
 Не работал, не был, не умею,
 Никаких знакомых не имею.
 Родственников за границей нету,
 Сорок три вопроса и ответа,
 Сорок три вопроса и ответа —
 Просто идеальная анкета.

 Одного вопроса нет в анкете.
 Нет того, что в сердце нам стучится,
 Ханжескому пафосу противясь,
 А когда ты думать разучился,
 Несгибаемый, как пень, партиец?

Твердым шагом проходил в президиум,
 Каялся, когда кричали: «Кайся!»
 И не падал, и не спотыкался,
 Потому что, кто ж споткнется сидя...

ДА, МАЛЬЧИКИ!

Мы — виноваты.
 Виноваты очень:
 Не мы
 с десантом
 падали во мглу.
 И в ту —
 войной затоптанную —
 осень
 мы были не на фронте,
 а в тылу.
 На стук ночной
 не вздрагивали боязно.
 Не видели
 ни плена,
 ни тюрьмы!
 Мы виноваты,
 что родились поздно.
 Прощенья просим:
 виноваты мы.
 Но вот уже
 и наши судьбы
 начаты.
 Шаг первый сделан —
 сказаны слова.
 Мы начаты —
 то накрепко,
 то начерно.
 Как песни,
 как апрельская трава.
 Мы входим в жизнь.
 Мы презираем бляенье.
 И вдруг я слышу разговор о том,
 что вот, мол, подрастает поколение.
 Некстати... непонятное...
 Не то...
 И некто —
 суетливо и запальчиво, —
 неспостижимой злобой

увлечен,
уже кричит,

В ЛИЦО НАМ

тыча пальцем:

«Нет, мальчики!»

Позвольте,

он — о чем?

О чем?

Нам снисхождения не надо!

О чем?

И я оглядываю их:

строителей,

поэтов,

космонавтов —

великолепных мальчиков моих.

Не нам брюзжать,

не нам копить обиды:

и все ж таки

во имя

всей земли:

«Да, мальчики!» —

которые с орбиты

космической

в герои

снизошли!

Да, мальчики,

веселые искатели,

отбившиеся

от холодных рук!

Я говорю об этом

не напрасно

и повторять готов

на все лады:

Да, мальчики в сухих морозах Братска!

Да, мальчики, в совхозах Кулунды!

Да,

дерзновенно

умные

очкарики —

грядущее

неслыханных наук!

Да, мальчики,

в учениях тяжелых,

окованные

строгостью

брони.

низинами,
 пригорками.
 В конвертах запечатанных
 над шпалами стучат они,
 над шпалами,
 над кочками:
 «Все кончено.
 Все
 кончено...»

О РАЗЛУКЕ

Ты ждешь его теперь,
когда
 вернуть его назад
нельзя...

Ты ждешь.
 Приходят поезда,
 на грязных спинах
принося
 следы дорожных передряг,
 следы стремительных дождей...
 И ты,
 наверно, час подряд
 толкаешься среди людей.
 Зачем его здесь ищешь ты —
 в густом водовороте слов,
 кошелок,
ящичков,
узлов,
 среди вокзальной суеты,
 среди приехавших сюда
 счастливых,
плачущих навзрыд?..

Ты ждешь.
 Приходят поезда.
 Гудя,
приходят поезда...

О нем
 никто не говорит.
 И вот уже не он,
а ты,
 как будто глянув с высоты,
 все перебрав в своей душе,

все принимая,
 все терпя,
 ждешь,
 чтобы он простил тебя...
 А может,
 нет его уже...
 Ты слишком поздно поняла,
 как
 он тебе необходим.
 Ты поздно поняла,
 что с ним
 ты во сто крат сильнее была...
 Такая тяжесть на плечах,
 что сердце
 сплющено в груди...
 Вокзал кричит,
 дома кричат:
 «Найди его!
 Найди!
 Найди!»

 Нет тяжелее ничего,
 но ты стерпи,
 но ты снеси.
 Найди его!
 Найди его.
 Прощенья у него
 проси.

ПИСЬМО ДОМОЙ

Мама, что ты знаешь о ней?
 Ничего.
 Только имя ее.
 Только и всего.
 Что ты знаешь,
 заранее обвиня
 ее в самых ужасных грехах земли?
 Только сплетни,
 которые в дом приползли,
 на два месяца опередив меня.
 Приползли.
 Угол выбрали потемней.
 Нашептали и стали, злорадствуя, ждать:

чем, мол, встретит сыночка
родная мать?
Как, мол, этот сыночек ответит ей?
Тихо шепчут они:
— Дыму нет без огня. —
Причитают:
— С такою семья — не семья. —
Подхихикивают..
Но послушай меня,
беспокойная мама моя.
Разве можешь ты мне сказать:
не пиши?
Разве можешь ты мне сказать:
не дыши?
Разве можешь ты мне сказать:
не живи?
Так зачем говоришь:
«Людей не смеши»,
говоришь:
«Придет еще время любви»?
Мама, милая!
Это все не пустяк!
И ломлюсь не в открытые двери я,
потому что знаю:
принято так
говорить своим сыновьям, —
говорить:
«Ты думай пока не о том», —
говорить:
«Подожди еще несколько лет,
настоящее самое будет потом...»
Что же, может, и так...
Ну, а если — нет?
Ну, а если,
решив переждать года,
сердцу я солгу и, себе на беду,
мимо самого светлого счастья пройду, —
что тогда?..
Я любовь такую искал,
чтоб —
всего сильнее!
Я тебе никогда не лгал!
Ты ведь верила мне.
Я скрывать и теперь ничего не хочу.

Мама, слезы утри,
 печали развей —
 я за это жизнью своей заплачу.
 Но поверь, —
 я очень прошу! —
 поверь
 в ту, которая в жизнь мою светом вошла,
 стала воздухом мне,
 позвала к перу,
 в ту, что сердце так бережно в руки взяла,
 как отцы новорожденных только берут.

СТРАННЫЙ ФЕВРАЛЬ

Что это с февралем?
 Что он,
 сошел с ума?

 С крыши — капель ручьем,
 а говорят:
 зима...
 Звоном разбужена рань, —
 как о таком судить?
 Что ж это ты, февраль,
 шутики вздумал шутить?
 Пожалуйста, это брось, —
 прими посолидней вид, —
 лужи-то хоть
 заморозь,
 а то ж это просто стыд —
 выше нуля в тени,
 в парке сплошная грязь...
 Слышишь, февраль,
 крутани
 снегом в последний раз!
 Ну-ка, тряхни стариной!
 Разбудоражь нам кровь,
 снежною белизной
 озимь в полях укрой...
 Выглядишь киселем.
 Стань
 настоящим малым!
 Будь собою,
 будь февралем,
 не притворяйся маем!

БЕЗ ТЕБЯ

Алене

Хотя б во сне давай увидимся с тобой.
Пусть хоть во сне
твой голос зазвучит...

В окно —
не то дождем,
не то крупой

с утра заладило.
И вот стучит, стучит..
Как ты необходима мне теперь!
Увидеть бы.
Запомнить все подряд...

За стенкою о чем-то говорят.
Не слышу.
Но, наверно, — о тебе!..

Наверное, я у тебя в долгу,
любовь, наверно, плохо берегу:
хочу услышать голос —
не могу!

Лицо пытаюсь вспомнить —
не могу!

...Давай увидимся с тобой хотя б во сне!
Ты только скажешь, как ты там.
И все.

И я проснусь.
И легче станет мне...

Наверно, завтра
почта принесет
письмо твое.

А что мне делать с ним?
Ты слышишь?
Ты должна понять меня —
хоть авиа,
хоть самым скоростным,
а все равно пройдет четыре дня.
Четыре дня!
А что за эти дни
случилось —
разве в письмах я прочту?!
Как эхо от грозы, придут они...

Давай увидимся с тобой —
 я очень жду —
 хотя б во сне!
 А то я не стерплю,
 в ночь выбегу
 без шапки,
 без пальто...
 Увидимся давай с тобой,
 а то...
 А то тебя сильнее я люблю.

ПО ПОВОДУ

14 мая в клубе нашего института состоится лекция на тему:

О любви и дружбе

Лектор: действительный член о-ва по распространению политических и научных знаний кандидат педагогических наук Л.И. Миролюбова.

До того суха,
 до того длинна,
 до того надсадно
 начала говорить,
 будто трость вчера проглотила она
 и никак не может переварить...
 С научных высот своего величия
 делая экскурс в прошлое,
 она приводила цитаты различные,
 цитаты очень хорошие.
 Она рассыпалась
 комками слов,
 вздымала левую бровь,
 сурово доказывая,
 что любовь —
 просто влечение полов,
 что этого
 надо бояться,
 как оспы,
 что до сих пор
 заблуждаются многие,
 что мы,
 с точки зрения биологии,
 просто
 различные особи.

Неужели никто вас не ревновал,
 не писал вам,
 в губы не целовал?!
 Неужто не рады вы
 этой весне?!
 Товарищ!
 Да что вы!
 Смеетесь над нами?

 Неужто вы так и родились:
 в пенсне
 и с золотыми зубами?

О ВРЕМЕННО ПРОПИСАННЫХ

Взбалмошные воробьи чирикали.
 Сгребали дворники снежные комья...
 Клава сказала:
 — У нас вечеринка,
 будут мои знакомые... —
 И вот
 нажимаю звонок легко,
 за дверью —
 стук каблуков.
 Вешалка заляпана
 велюровыми шляпами.
 Две,
 четыре,
 восемь,
 десять,
 красные,
 синие.
 Будто продают их здесь,
 будто в магазине я.
 Раздеваться велено.
 Смотрю неуверенно,
 а она, с усмешкою
 шарф теребя:
 — Ну?
 Чего ты мешкаешь?
 Ждут
 тебя... —
 Шагнул
 и стал —

ковры,
 хрусталь.
 На стенке реденько
 три портретика.
 Смотрю —
 не верю своим глазам:
 Дружников,
 Кадочников
 и Тарзан...
 — Скорей проходи...
 Пожалста,
 знакомьтесь... —
 Но вначале
 я вижу только галстук
 меж двумя плечами.
 Кокетливый и длинный
 кусок хвоста тигриного,
 который к рубашке
 приколкой прижат,
 и все обрамляет зеленый пиджак.
 Крик моды:
 могучие ватные плечи,
 фасона:
 «А ну, брат, полегче!»
 и ярко-малиновые штаны
 сомнительной ширины.
 А владелец галстука
 стоит уже
 и плечами пожимает:
 — Что ж... —
 Гнусовато,
 со смягченным «ж», —
 Жерж.
 Вот стул.
 Просю садиться... —
 И, волосы поправивши, тонким мизинцем
 трогает клавиши.
 Он сообщил мне сразу сам,
 что папа где-то в главке зам
 и все такое,
 и засим
 имеется у папы «ЗИМ».
 — А я учился в ГИТИСе,
 потом — в металлургическом.

Но и металлургия
не моя

стихия.

Печальный факт.
Теперь куда б почище? —
Подался на филфак,
но тут
скучища.

Опять тетради...

Он морщил лобик маленький.
Двадцатилетний дядя,
сыночек маменькин.
Эдак

и жил он
за мамой да за тетями:
— Жорочка,
скажи нам!
Жорочка, что тебе? —
Сбивались с ног —
попил ли?
Поел?

И рос

сынок
царьком в семье.
Сыпались «карманные»
прямо с неба

манною.
Раскраснелась вывеска,
стала привлекательной.
В магазинах выискал
галстук сногшибательный.
Заказал себе пальто,
плащ по моде,
а потом

не вспоминал о лекциях неделю,
тягучим бриолином мазал гриву
и за обедом напевал игриво:
«Никто меня не холит,
не коктейлит...»

И, став вполне законченным пижоном,
шагал, по улицам ступая чинно.
А мама часто говорила:

— Жора,
зачем ты ходишь,
если есть машина? —

По горло вечно занятый папаша
горой за сына своего стоял...

Сейчас передо мною

«чадо ваше»

окурок

молча тушит о рояль,

сдувает пепел

и, брезгливо морщась,

на ногти тупо смотрит и ворчит:

— А вообще-то,

ослабела мощность.

Не та эпоха!

Не те

харчи... —

И, махая рукой устало,

томно цедит:

— А что осталось?

Кинуть грамм полтораста горькой,

а потом с подружками дошлыми

прошвырнуться по улице Горького,

мостовую

память

подошвами!

Модным шарфом укутав горло,

дефилировать,

встречным кивая...

И, как будто ему подвывая,

загнусявила вдруг радиола.

Чей-то голос

устало цыганский

пел о ветре в степи молдаванской,

пел об ангелах

разных расцветок,

о бананах,

свисающих с веток,

пел о дальнем, заброшенном мире...

Потянуло гнилью в квартире.

Слово за слово,

песня за песней.

Будто это с пластинок плесень

наплывает, вползает в уши...

— Получается вроде скушно... —

Жоржик встал

и к дивану вразвалочку:

да так, чтобы
(боже!)
завидовать стали подруги,
да так,
чтоб побольше
зарплата была у супруга!
Да так, чтоб — машина!
Да так, чтобы в центре квартира!

...А жизнь проходила,
а жизнь стороной проходила,
а жизни не скажешь:
«Помедленней!
Не успеваю...»
Послушай,

так как же?
Откуда ж взялась ты —
такая?

.....
Дверь —
и сразу как будто гору
с плеч.
Асфальт со сколотым льдом.
Передо мною
весенний город,
а за спиной —
дом.

Многоэтажный красавец взнесен
к звездам самим как будто...

Постой!
А может, ты видел сон?
Может,
ты перепутал?
Может,
такого не было?

Но
прямо над головой
на улицу
вывалило окно
фокса
кошачий вой.

Подошвами шаркая в тесноте
с ухмылочкою уверенной,
еще в квартире танцуют
те,

кто в жизни
 прописан временно!
Еще в квартире
 опять и опять
«Жоржики»
 что-то вопят.
Снова столбом дым папирос
и ходуном
 пол.
Снова...
Имею один вопрос:
а до каких
 пор?



«ДРЕЙФУЮЩИЙ ПРОСПЕКТ»

1959

* * *

Я уехал
от весны,
от весенней кутерьмы,
от сосулечной
апрельской
очень мокрой бахромы.
Я уехал от ручьев,
от мальчишечьих боев,
от нахохлившихся почек
и нахальных воробьев,
от стрекота сорочьего,
от нервного брожения,
от головокружения
и прочего,
и прочего...
Отправляясь в дальний путь
на другой конец страны,
думал:
«Ладно!
Как-нибудь
проживем и без весны...
Мне-то, в общем,
все равно —
есть она или нет ее.
Самочувствие мое
будет неизменным...»
Но...
За семь тысяч верст,
в Тикси,
прямо среди бела дня
догнала весна
меня
и сказала:
«Грязь месит!»

Догнала, растеребя,
в будни ворвалась
и в сны.

Я уехал
от весны...
Я уехал
от тебя.
Я уехал в первый раз
от твоих огромных глаз,
от твоих горячих рук,
от звонков твоих подруг,
от твоих горячих слез
самолет меня
унес.

Думал:
«Ладно!
Не впервой!
Покажу характер свой.
Хоть на время
убегу...
Я ведь сильный,
я —
смогу...»
Я не мерил высоты.
Чуть видна земля была...
Но увидел вдруг:
вошла
в самолет летящий
ты!
В ботах,
в стареньком пальто...

И сказала:
«Знаешь что?
Можешь не убегать!
Все равно у тебя из этого
ничего не получится...»

ОБЛАКА

Хочешь,
оторву кусок от облака?
Вот от этого...
Смотри, какое пухлое...
Проплывает
с самолетом об руку

белой

свежевypеченной булкой.

На семи ветрах оно замешано,
приготовлено

в дорогу дальнюю...

Солнечный разлив

и тьма крошечная

потрудились над его созданием...

Посмотри:

растет оно и пыжится,

будто в самом деле —

именитое.

Так сурово и надменно движется,

будто все оно —

насквозь! —

гранитное,

монолитное,

многопудовое,

диктовать условия готовое.

Раздувается с довольной миной

и пугает неоглядно толщью:

«Захочу —

и я вас уничтожу!

Захочу, —

наоборот, —

помилую...»

Мне еще все это незнакомо.

Мне, —

сказать по правде, —

страшновато.

Ну, а если облачная вата

в горле у мотора

встанет комом?

Ну, а если небо занавесится

и на нас навалится с опаскою?..

Самолет

по очень длинной лестнице

лезет

к богу самому за пазуху....

Бортмеханик говорит спокойно,

глядя на меня из-под бровей:

— Это все, приятель,

пустяковина...

Будем живы!

Ты уж мне
 поверь... —
 Он читает «Расщепление атома»
 и поет про свежесть васильков.

Мы летим на север.
 Скоро Амдерма.
 Мы летим.
 Мы выше
 облаков.

НЕМНОГО ЭКЗОТИКИ

— Ну, и как там?
*(Вопрос, на который очень
 трудно ответить)*

На улице,
 как и вчера, —
 холодина,
 снег,
 поземка...
 Впрочем,
 «улица» —
 это большая льдина,
 от других отличающаяся
 не очень.
 Разве что чуть побольше
 (а все ж таки край —
 недалече).
 Разве что чуть покрепче
 (но это мы скажем позже,
 скажем:
 «Спасибо,
 льдина!
 Выдержала, молодчина»).
 Пока
 от похвал воздержаться
 особая есть причина.
 Дело совсем не в страхе!
 Не в том,
 чтобы кто-то сдрейфил
 и вместе с началом дрейфа
 начались
 «охи» и «ахи».
 У нас хорошая льдина —
 ее выбирали не зря, —

вполне приличная льдина,
но все ж таки —
 не земля.

Но все ж таки там,
 под него,
такая вода темнеет,
таким леденящим светом,
что лучше...
не будем об этом.
Не надо!

 Кому охота...
Это я просто к слову.
День начинается новый
не с солнечного восхода.
Всему удивляться
 какой резон?

Но странно
считать в порядке вещей,
что солнце
из принципа
вообще
не уходит за горизонт.
Мерцает
 маленькое пятно
сквозь выцветшую пелену...
Но если ты очень устал,
 то оно
вполне заменяет луну.

По радио
диктор неунывающий
нас будит
 в восемь часов утра —
в Москве:
«Спокойной ночи, товарищи!» —
значит, вставать пора...
Пора...
И уже минут через пять
мы щурим глаза от света...
«Как нынче погода?
Ветер опять?»
Нет, это не ветер.
Это,
примериваясь
 для посадки на лед,

лопастями винтов шевеля,
с достоинством в небе
висит вертолет —
гибрид головастика
и шмеля.

НА ДРЕЙФУЮЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ТЫ ЖИВЕШЬ...

Мне гидролог говорит:
— Смотри!
Глубина
сто девяносто три! —
Ох, и надоела мне одна
не меняющаяся глубина!..
В этом деле я не новичок,
но волнение мое пойми —
надо двигаться вперед,
а мы
крутимся на месте,
как волчок.

Две недели,
с самых холодов
путь такой —
ни сердцу, ни уму..
Кто заведует движеньем льдов?
Все остановил он
почему?
Может, по ошибке,
не со зла?
Может, мысль к нему в башку пришла,
что, мол, при дальнейшем продвижении
расползется все сооружение?
С выводом он явно поспешил —
восхитился нами
и решил
пожалеть,
отправить на покой.
Не желаю
жалости такой!
Не желаю,
обретя уют,
слушать,
как о нас передают:
«Люди вдохновенного труда!»
Понимаешь, мне обидно все ж...

Я гидрологу сказал тогда:
— На Дрейфующем проспекте
ты живешь.
Ты же знал,
что дрейф не будет плавным,
знал,
что дело тут дойдет до драки,
потому что
в человечьи планы
вносит Арктика
свои поправки,
то смиряясь,
то вдруг сатанея
так,
что не подымешь головы...
Ты же сам учил меня, что с нею
надо разговаривать
на «вы».
Арктика пронизывает шубы
яростным дыханием морозов.
Арктика показывает зубы
ветром исковерканных
торосов.
Может, ей,
старухе,
и охота
насовсем с людьми переругаться,
сделать так,
чтоб наши пароходы
никогда не знали
навигаций,
чтобы самолеты не летали,
чтоб о полюсе мы не мечтали,
сжатые рукою ледяною...
Снова стать
неведомой строною,
сделать так,
чтоб мы ее боялись.

Слишком велика
людская ярость!
Слишком многих
мы недосчитались!
Слишком многие
лежать остались,

И знали мы:
 среди торосов грузных
 у флага будет каждый на виду.
 Он не потерпит
 шкурников и трусов,
 поможет,
 если попадешь в беду.
 Не сдаст,
 не упадет
 и не остынет,
 бунтующий,
 разлившийся в глазах.

...Ну, вот и все.
 Конец тебе,
 пустыня!
 Конец тебе,
 безмолвье!
 Грянул залп.

«ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ»

*Сочетание «88-С» по коду радистов
 означает «целую».*

Понимаешь,
 трудно говорить мне с тобой:
 в целом городе у вас —
 ни снежинки.

В белых фартучках
 школьницы идут
 гурьбой,

и цветы продаются на Дзержинке.
 Там у вас — деревья в листе...
 А у нас, —
 за версту,
 навверное,
 слышно, —

будто кожа новая,
 поскрипывает наст,
 а в субботу будет кросс
 лыжный...

Письма очень долго идут.
 Не сердись.

«Понимаю,
 восемьдесят восемь!..»
 Я не знаю,
 может,
 все было не так.
 Может —
 более обыденно
 пресно...
 Только верю твердо:
 жил такой чудак!
 Мне в другое верить
 неинтересно...

 Вот и я
 молчание
 не в силах терпеть!
 И в холодную небесную просинь
 сердцем
 выстукиваю
 тебе:
 «Милая!
 Восемьдесят восемь!..»
 Слышишь?
 Эту цифру я молнией шлю.
 Мчатъ ей
 через горы и реки...
 Восемьдесят восемь!
 Очень люблю.
 Восемьдесят восемь!
 Навеки.

ХРЕБЕТ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА¹

Мне сегодня показалось,
 словно
 тишина,
 тугая и густая,
 страшным грохотом
 была разломана
 и из океана
 горы
 встали!

¹ Хребет имени Ломоносова — горный хребет, проходящий по дну Ледовитого океана. — *Прим. авт.*

Встал хребет почти до небосвода,
огляделся,

 тяжело вздыхая,
и заговорил,
морскую воду
с каменного тела

 отряхая:
сколько помню я себя —
ни разу
на вершинах,

 темных и тенистых,
не бывали
ваши альпинисты,
не ступали
ваши водолазы.

Над моими склонами
 неслышно

ходят рыбы
 легкими стадами.
Водоросли медленно колышут
синими
густыми бородами.
Бродят неуверенно и немо
зыбкие,
кисельные медузы.

Надо мною
вместо глыбы
 неба
океан лежит
 великим грузом.
Эту тяжесть подперев руками,
я стою,
крутую выгнув спину.
Снизу мне дрейфующие льдины
кажутся
 большими облаками.

Не хочу,
чтоб жизнь без цели гасла!
Жду,
наверное, миллионный день я,
чтобы вам
отдать свои богатства;

чтобы вы
пришли в мои владенья...
Я —
ровесник вашего Урала!
Я уже ущельями
разорван...

Приходите!
Подарю вам зерна
драгоценного,
как жизнь,
урана...

Приходите!
Говорю, как старший.
Вас
зову
не за подачкой тощей...

Я раскрою
угольные толщи
(вам
такое
и не снилось даже!).
Вашим домом стану и оплотом,
подарю вам
золотые жилы...

Хватит
спину мне царапать лотом!
Присылайте помудрей
машины!

Я
своею каменною грудью
вас от всех опасностей
прикрою,
напою вас собственной кровью...
Присылайте умные орудья.

Жаль, что нет пока
таких орудий.
Их еще выдумывают
люди.

ГОРЯЧИЙ СЕВЕР

А слышала ли ты, что он —
горячий?..
Вмиг освистав торосистые пики,

метели покуражатся
и спрячут
все вехи,
все привычные тропинки.
По насту —
он невозмутимо гладок,
по снегу —
он тяжел и слишком тих —
гидрологи
выходят из палаток,
и ночь
неслышно принимает их.
Гидрологи выходят напевая.
И никого на помощь не зовут,
горячими руками согревая
лебедочную
злую синеву...
Когда бураны начисто ломают
людской покой
и грузы тяжелы —
ребята раздеваются
до маек,
спасаясь от невиданной жары!..
Чернеет в лунке круглая вода.
Свет фонаря задумчив и рассеян...
Обычная работа.
Как всегда.
Медлительная ночь...
Горячий Север!

АВРАЛ

Мы ящиков не выбираем полегче.
Нагружены руки.
Оттянуты плечи.
Не гнутся,
но кажутся ватными
пальцы.
Упасть бы сейчас
и в снегу отоспаться!
На десять минут бы!
На десять...
Но снова,
палаточный город
собой сотрясая,

врывается слово,
взрывается слово:
«АВРАЛ!»

...Очень медленно
движутся
сани.

Как будто стальные.
Как будто из камня.
Скрипя,
подаваясь почти незаметно, —
то плавно,
а то вдруг толчками,
рывками, —

еще на полметра.
Еще на полметра...
А снег под ногами
предательски порист.

И лезем мы,
на руки яростно дуя,
шатаясь,
проваливаясь по поясу,
по ровному полю,
как в гору крутую.

Холодное солнце
идет небесами...

Глаза застилает.
Дышать уже нечем.
Оттянуты руки.
Натружены плечи.
Но движутся сани.
Но движутся сани!

...Мне долго еще будет сниться такое:
нежданной
приходит Большая Работа.
Полундра! —
и мы поднимаемся с коек.
Аврал! —
и рубахи дымятся
от пота.

МИРАЖ

Дежурный закричал:
— Скорей сюда!
Мираж!
смотрите!

Все сюда!
 Скорей!.. —
 И резко отодвинута еда.
 И мы вываливаемся из дверей.

Я ждал всего.
 Я был готов к любому:
 к цветам и пальмам
 в несколько рядов,
 к журчащему прибою голубому,
 к воздушным башням
 древних городов.

Ведь я читал,
 как над песком
 бесстыдно
 вставляли
 эти памятники лжи.

Ведь я читал,
 как жителей пустыни
 с дороги уводили
 миражи...

Ведь я читал,
 ведь я об этом знаю:
 слепящим днем,
 как в полной темноте,
 шагали
 люди,
 солнце проклиная,
 брели
 к несуществующей воде.

Но здесь...
 — Да где мираж?!
 — А очень просто.
 Туда смотри!..

Я замер,
 поражен:
 на горизонте
 плавали
 торосы

вторым,
 не очень ясным этажом.
 Они переливались
 и дрожали...

Я был готов к любому.
 Ждал всего...
 Но Арктика!
 Ты даже
 миражами
 обманывать
 не хочешь никого.

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Нет погоды над Диксоном.
 Есть метель.

Ветер есть.
 И снег.
 А погоды нет.
 Нет погоды над Диксоном третий день.
 Третий день подряд
 мы встречаем рассвет
 не в полете,
 который нам по душе,
 не у солнца,
 слепящего яростно,
 а в гостинице.
 На втором этаже.
 Надоевшей.
 Осточертевшей уже.
 Там, где койки стоят в два яруса.
 Там, где тихий бортштурман Леша
 снисходительно,
 полулежа,
 на гитаре играет,
 глядя в окно,
 вальс задумчивый
 «Домино».

Там, где бродят летчики по этажу,
 там, где я тебе это письмо пишу,
 там, где без рассуждений
 почти с утра, —
 за три дня,
 наверно, в десятый раз, —
 начинается «северная» игра —
 преферанс.
 Там, где дни друг на друга похожи,
 там, где нам
 ни о чем не спорится...

Ждем погоды мы.
Ждем в прихожей
Северного полюса.
Третий день

погоды над Диксоном нет.

Третий день.

А кажется:
двадцать лет!

Будто нам эта жизнь двадцать лет под стать,
двадцать лет, как забыли мы слово:
«летать»!

И обидно.

И некого вроде винить.

Телефон в коридоре опять звонит.

Вновь синоптики,
самым святым клянясь,
обещают на завтра
вылет
для нас.

И опять, как в насмешку,
приходит с утра
завтра,

слишком похожее

на вчера.

Улететь —

дело очень нелегкое,

потому что погода —
нелетная.

...Самолеты охране поручены.
Самолеты к земле прикручены,
будто очень опасные

звери они,

будто вышли уже

из доверья они.

Будто могут

плюнуть они на людей —
на пилотов,
механиков
и радистов.

И туда, где солнце.

Сквозь тучи.

Над Диксоном
третий день погоды нет.

Третий день.
Рисковать приказами запрещено.

Тихий штурман Леша
глядит в окно.
Тихий штурман
наигрывает «Домино».

Улететь нельзя все равно
ни намеренно,
ни случайно,
ни начальникам,
ни отчаянным —
никому.

К ВОПРОСУ О ПОЛЯРНЫХ «ВОЛКАХ»

Он в комнату ввалился
с тяжелым рюкзаком.
Дышал он в наши лица
медовым табаком.
Он улыбался пьяненько:
«Живем, брат, ничего!..»
Висел значок полярника
на кителе его.

Рассказывал про то,
как,
дороги не пробив,
застрял корабль в протоках
разлившейся Оби,
как он случайно спасся
у Каменных Дверей
и кончились запасы
подмокших сухарей.
Как он ослабил ветер,
как он жилье нашел
и как убил
медведя
охотничьим ножом.

Об этом мы, наверно,
не знали ни черта...
Но были мы уверены,
что нам он —
не чета.

Посасывая трубку,
чтоб убедить верней,
показывал он

руку
и сизый шрам
на ней.
Учил,
как надо табаком
делиться

без обид,
как надо пить
одним глотком
неразведенный спирт.
Слова звучали веско, —
солидные слова:
— Мне Арктика известна
до тонкостей,

братва...
И вот теперь внезапно, —
хоть я и сам не рад, —
я должен ехать завтра
по делу
в Ленинград.

Но тут Сережа Братников
прервал его:

— Шалишь!

Да ты ж
неделю в Арктике.

О чем ты говоришь?!

Чего за рюмку
прячешься?

Иль не узнал меня?

Ведь ты в конторе
плачешься

уже четыре дня...

Бежишь отсюда?

Ладно,
катись —

переживем!

Таких, как ты,

обратно —

умри, —

не позовем!

Беги,

другим рассказывай,

другим втирай очки.

Валяй, в Крыму
показывай
полярные

значки!

Не надо делать драмы,
с нами — не дури...
Ответь мне лучше прямо:
струсил?
Говори!..

И тот пошел,

поехал:

мол, начал вдруг болеть...

Мол, надо ж человека
когда-нибудь
жалеть...

Приехал необдуманно...

Почти что без вещей...

А тут

метели дунули...

И нелегко...

Вообще...

Мол, хоть и не партийный,
но знаю, что к чему...

И ежели противно
здоровью

моему...

Культурный, мол, не просто...

В отличие от других...

Ему сказали:

— Брось ты!

Видали мы
таких!

...И тем же самым вечером
морозною порой
из-за стола развенчанным
поднялся наш

«герой».

Он трубкой не попыхивал
и не смотрел на нас, —
батон в рюкзак
запихивал,
наверно, в пятый раз.

Сказал перед уходом,
к нам обернувшись вдруг:
— Сдыхайте,
коль охота.
А я махну
 на юг!
Наплачетесь —
попомните...

Дверь шелкнула замком...
И долго
 пахло в комнате
прогорклым табаком.

УШЕЛ САМОЛЕТ

Вам каждый второй расскажет
 невыдуманную историю, —
(об этом
 не пишут в газетах,
песен об этом
 не слышно),
но я видел сам однажды:
ушел самолет на Викторню.
Ушел самолет, покачиваясь.
Ушел самолет,
и крышка...

Одиннадцать дней радисты
 усталых глаз не смыкали.
Обшаривали пилоты
 каждый клочок земли.

Людей,
 потерпевших бедствие,
одиннадцать дней искали.
А на двенадцатый
 утром
 радировали:

«Нашли!»
Нашли?
Но тогда скажите,
 зачем же, кусая губы,
начальник аэропорта
 не смотрит в глаза другим?
Кому эти черные ленты?

Только входили,
только вступали,
как заколдованные, засыпали...
Спали пилоты.
Механики спали.
Спали
как будто впервые с рожденья,
спали
с невиданным наслаждением.
Там, где попало.
Там, где упали.
За все предстоящие недосыпы
спали на совесть.

Взахлеб.

Но не вдоволь...

Утром

они говорили:

«Спасибо!» —

и снова были к полету готовы.
Снова ревели моторы призывно,
мерно подрагивая от напряженья.
Штурман в кабине

привычным движеньем

вешал над столиком карточку сына...

Взвизгивали,
бесновались метели.

Черные тучи смертью грозили...

Люди острили.

Люди

летели.

Делали дело.

Наград не просили.

В жизни такой

они толк понимали:

только по крупной
играя со смертью,
шли на посадку —
где бы сломали
ногу
даже бывалые

черти!

Небо встречало их снегом и ливнем.

Небо пугало...

Но в мире просторном
больше,
 чем всяким приметам счастливым,
верили эти люди
моторам.

...Мне бы
 размах этих крыльев!
Мне бы
эту огромность бездонного неба!
Это святое презренье к покою.
Силу б такую.
Сердце такое.
Может, немного
 в жизни смогу я.

Только с собою
беру вместо клятвы
то, что сейчас повторяю,
смакую:

— Люди крылаты.
Люди крылаты...
Бейся ж,
веселая песня,
в моторе
в дни снеговые,
в ночи сырые!..

Люди крылаты!
Крылаты!!
И горе
тому,
 кто рискнет им подрезать
 крылья.

СЕВЕРНОЕ

Ты уйди!
Ты не стой на холоде.
По домам пора.
По домам.

...Как накурено
 в этом городе!
Навалился,
наполз туман.

Удивляются люди:
 — Откуда он
 появился
 этакой массою?! —
 Все густой пеленой окутано,
 хоть руби,
 хоть на хлеб намазывай!
 Стали громкие фразы
 невнятными.
 Тротуары сделались
 тесными.
 Стали улицы
 непонятными,
 бесконечными,
 неизвестными.
 На себя не похожа
 площадь —
 притаится она решила.
 Вот машина идет на ощупь,
 еле двигается
 машина.
 Спотыкаясь,
 не там сворачивая,
 останавливаясь порою,
 ходят люди,
 будто незрячие,
 руки выставив перед собою.
 Озираются непонимающе,
 повторяют:
 — Ну и туманище!..

Объясняя это явление,
 эрудицией
 жителей радуя,
 обещает на завтра
 радио
 незначительное потепление.
 Забирается стужа в валенки,
 и слова застревают в горле.

Как накурено
 в этом городе,
 очень старом
 и очень маленьком.

АРКТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

К.А. Сычеву

Не трудись над хитрой вакциною,
в книги-справочники не лезь...
Существует здесь
медициною
не изученная болезнь...
Если парень,

 сидя в палатке,

грустновато,
не сгоряча
говорит:
«Заболел я...

 Арктикой...» —

то к нему не зовут врача.

Заболел я Арктикой —

это

значит, Арктика

сердце взяла

и неласковым голосом ветра

человека

к себе позвала!

Значит, где б ты теперь

 ни странствовал,

на пороге

 любой весны,

будешь бредить полярными трассами,

будешь видеть снежные сны...

...Ну, а что в ней,

 скажите,

 особого —

в этой путанице ледяной?

Реки теплые,

горы высокие

обошли ее стороной.

Обошли,

обделили,

обидели...

Только это все —

не беда!

Если б вы хоть однажды

увидели

угловатую царственность
 льда,
 если б вы хоть однажды

ПОНЯЛИ

долгожданного солнца
 приход,
 если б легкие вы наполнили
 звонким воздухом
 этих широт,
 если б вы извели

счастье

и величие дружбы земной, —
 вы, конечно, тогда —
 ручаюсь я! —
 повторили бы вместе со мной,
 повторили —
 одни

украдкой,
 а другие —

в голос крича:

— Заболел...

Заболел я

Арктикой!

Не зовите ко мне врача.

* * *

Не ревнуй меня к дороге,
 к неудачам и удачам...
 Принимаю все упреки,
 но иначе?

Как

иначе?

Не ревнуй меня к вагонам,
 не ревнуй меня к проселкам,
 к верхним полкам,
 тряским полкам
 и пейзажам законным.

Говоришь ты мне сердито:

«Я не выдержу —

обижусь.

Ну подумай,
 рассуди ты —

я ж тебя почти не вижу!

Неужели ты не кончишь
постоянные тревоги?
Неужели ты не хочешь
дома быть,
а не в дороге?»
Милая...
Давай проверим, —
накрепко закроем двери.
Будем мы вдвоем с тобою.
Просто двое.
Только двое.
Чтобы ты
 на дальний ветер
не была в такой обиде.
Чтобы никого на свете
и не слышать
и не видеть.
Бабушку твою научим,
чтоб она
 на каждый случай
говорила всем знакомым:
«Нету дома!»,
«Нету дома...»

...Если будет так,
 как скажем,
то
(почти уверен я)
удивятся очень даже
родственники
 и друзья.
Будут волноваться,
часто
телефоны беспокоя,
будут в нашу дверь стучаться:
— Что стряслось?
— Что такое? —
А потом они
отстанут.
Навещать нас
перестанут.
Позвонят,
так без охоты.
И забудут
 ЭТОТ ДОМ.

Просидим мы так полгода.
Год, допустим.
А потом...

Ты ж сама
(поверь на слово!)
подойдешь ко мне сурово
и совсем без тени смеха
скажешь
 нервно и жестоко:
«Ты б уехал ненадолго!
Ты б куда-нибудь
 уехал...»

РОВЕСНИКАМ

Артуру Макарову

Знаешь, друг,
мы, наверно, с рожденья
 такне...

Сто разлук
нам пророчили
 скорую гибель.

Сто смертей
усмехались беззубыми ртами.
Наши мамы
вестей
месяцами от нас ожидали...

Мы
росли —
поколение
 рвущихся плавать.

Мы пришли
в этот мир,
 чтоб смеяться и плакать,
видеть смерть
и, в открытое море бросаясь,
песни петь,
целовать неприступных красавиц!
Мы пришли
быть,
где необходимо и трудно...
От земли
города поднимаются круто.

Век
суров.
Почерневшие реки
дымятся.

Свет костров
лег на жесткие щеки
румянцем...

Как всегда,
полночь смотрит
немыми глазами.

Поезда
отправляются по расписанию.
Мы ложимся спать.
Кров родительский
сдержанно хвалим...

Но
опять
уезжаем,
летим,
отплываем!

Двадцать раз за окном
зори
алое знамя подымут...

Знаю я:
мы однажды уйдем
к тем,
которые сраму
не имут.

Ничего
не сказав.
Не успев попрощаться...

Что
с того?
Все равно: это —
слышишь ты? —

счастье:
сеять хлеб
на равнинах,
ветрами продутых...
Жить взахлеб!
Это здорово кто-то придумал!

* * *

Некриливо и незаметно
великанами
стали ребята.

Путь в три тысячи километров —
все равно что для нас
от Арбата
до Никитских ворот
добраться.

Впрочем, что я, —
гораздо ближе!..

Лед,
который на солнце плавится,
длиннохвостые ветры лижут...
Бросив вызов этой пустыне,
по одной
по своей охоте
великаны
живут на льдине,
фантазеры
по льдине ходят.

Расстояний
не замечая,
москвичей покоя лишая,
на полярную ночь
приглашают,
как на чашку чая!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Четырнадцать часов полета,
и —
Москва...
Молчи.
Не говори ненужные слова.

Аэродром.
Синеющий лесок.
Через него —
шоссе нанскосок.
Недвижна голубая крутизна...
Стоим —
оглушены,
удивлены.

Деревьями и воздухом
 пьяны.
 «Вот мы и возвратились, старина!»

..И можно,
 никого не удивив,
 шоферу крикнуть:
 «Эй!

Останови!»
 Быть наяву,
 не выходя
 из сна, —

упасть в траву,
 услышать, как растет она.
 Глядеть вокруг.
 По лугу медленно пройтись...
 Ослепнуть вдруг
 от грянувшего пенья птиц.
 Нарвать ромашек.
 Вымокнуть в росе.
 И вновь смотреть,

как косо
 падает
 шоссе.

Смеяться,
 петь до хрипоты,
 кричать!

...Как мог я раньше этого
 не замечать?!
 Как мог я думать,
 будто понял
 жизнь?..

То вверх,
 то вниз летит шоссе, —
 держись!
 А мы молчим...
 Шоссе — то вниз,
 то вверх.

Звенит оно,
 летит оно
 к Москве!
 К Москве.
 К тебе...

Закрѹть счастливые глаза.
 И вдруг понять,
 что через полчаса —
 то,
 чем ты жив:
 твой город.
 Твой порог.
 Твоя судьба —
 начало
 будущих дорог.



«НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА»

1962

ЧАСЫ

— Идут часы...
— Подумаешь, —
открыть!
Исправны, значит...
Приобрел —
носи...
— Я не о том!
На улицу смотрите:
по утренней земле
идут часы!
Неслышные, торопятся минуты,
идут часы,
стучат ко мне в окно.
Идут часы,
и с ними разминуться,
не встретить их
живущим не дано...
Часы недлинной жизни человека,
увидите, —
я вас перехитрю!
Я в дом вбегу.
Я дверь закрою крепко.
Теперь стучите, —
я не отворю!..
Зароешься,
закроешься,
непустишь,
свои часы дареные испортишь,
забудешь время
и друзей забудешь,
и замолчишь,
и ни о чем не вспомнишь.

Гордась уютной
 тишиной квартиры
 и собственной хитростью
 лучась,
 скорее
 двери забаррикадируй!..

Но час
 придет!
 Неотвратимый час.
 Наступит он в любое время года
 на мысли,
 на ленивые мечты.
 Наступит час
 на сердце и на горло...
 И, в страхе за себя,
 очнешься ты!..
 И разобьет окошко
 мокрый ветер.
 И хлынут листья
 в капелькак росы...

Услышишь:
 бьют часы!
 И вслед за этим
 почувствуешь:
 наотмашь
 бьют
 часы!

Людям, чьих фамилий я не знаю

По утрам
 на планете мирной
 голубая трава в росе...
 Я не знаю ваших фамилий, —
 знаю то,
 что известно всем:
 бесконечно дышит вселенная,
 мчат ракеты,
 как сгустки солнца.
 Это —
 ваши мечты и прозрения.
 Ваши знания.
 Ваши бессонницы.

если б̄ дело пошло на это, —
положили б̄
к ногам Человечества
все до капельки сверхсекреты!
Сколько б̄ вы напридумали разного!
Очень нужного

и удивительного!
Вы-то знаете, что для разума
никаких границ не предвидено.
Как бы людям легко дышалось!
Как бы людям светло любилося!
И какие бы мысли

б̄ились
в полушарьях
земного шара!..
Но пока что над миром веет
чуть смягчающеся
недоверье.
Но пока дипломаты высокие
сочиняют послания
мягкие, —
до поры до времени
все-таки
остатесь вы
безымянными.
Безымянными.

Нелюдимыми.
Гениальными невидимками...
Каждый школьник в грядущем мире
вашей жизнью
хвастаться будет..
Низкий-низкий поклон вам,
люди.
Вам,
великие.
Без фамилий.

НОВОСТИ

О, газеты свежие —
хлеб мой
утренний..
Извиняюсь вежливо,
пльву в толпе уличной.

Очередь
 длиннющая
на площади Восстания..
— За чем стоят, юноша?
— За новостями!..

Новый день,
 новый день.
Да и то правда:
что за день
без новостей?!
Это даже странно.
День такой —
 побоку!
Пусть скорей проносится..
Порою

 пахнут
 порохом
новости,
новости..
А в газетах

 важное
скудно,
супо.
Но гудит
 тревожное:

Куба!
Куба!..
Я читаю жадно,
меня торопит
 очередь..
На Кубе сейчас жарко.
Кубе трудно.
Очень.
Над Кубой благодатною
небо

 клубится..
Хлопцы бородатые,
кубинцы,
 кубинцы,
вам в предательской ночи
грозят

 чужие армии..
Милые бородачи,
с вами я,
 с вами я!..

Пожалуй,
 до субботы
 отращу бороду,
 в МИД пойду
 ругаться
 и поеду
 к Кастро!

НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА

Снятся усталым спортсменам рекорды.
 Снятся суровым поэтам слова.
 Снятся влюбленным
 в огромном городе
 необитаемые

 острова.

Самые дальние,
 самые тайные,
 ветру открытые с трех сторон,
 необнаруженные,
 необитаемые,
 принадлежащие тем,

 кто влюблен.

Даже отличник

 очень старательный

их не запомнит со школьной скамьи, —
 ведь у влюбленных
 своя география!
 Ведь у влюбленных
 карты

 свои!

Пусть для неверящих

 это в новинку, —

только любовь
 предъявила
 права.

Верьте:

 не сказка,

верьте:

 не выдумка —

необитаемые острова!..

Все здесь простое,
 все самое первое —

ровная,

 медленная река,

тонкие-тонкие,
белые-белые,
длинные-длинные
облака.

Ветры,
которым под небом не тесно,
птицы,
поющие нараспев,
море,
бессонное,
словно сердце,
горы,
уверенные в себе.
Здесь водопады
литые,
лещащие,
мягкая,
трепетная трава...
Только для любящих
по-настоящему

эти
великие острова!..
Двое на острове.
Двое на острове.
Двое — и все!..
А над ними —
гроза.

Двое — и небо тысячеверстное.
Двое — и вечность!
И звезды в глаза...
Это не просто.
Это не просто.
Это сложнее любого
в сто крат...

В городе стихшем
на перекрестках
желтым огнем светофоры горят.
Меркнет
оранжевый отблеск неона.

Гаснут рекламы,
гуденье прервав...
Тушатся окна,
тушатся окна
в необитаемых
островах.

Я позвоню у двери
и сердце положу...
А ты опять рассердишься, —
есть из-за чего.
А ты не примешь
сердца,
сердца моего...
Я это знаю, знаю —
и все же иду...

Улица
сквозная
пророчит беду.
А людям удивительно:
человек идет
и на руках
вытянутых
сердце
несет...

ТОГДА

Тогда
мы жили в Омске.
Там
в сорок втором году,
в весну
мы радовались не цветам,
а рассыпному толокну.
Я помню все:
и лебеду,
и очереди без числа...
На клумбах
в городском саду
картошка запросто росла.
Не смейте, люди, забывать
об этих днях,
о той весне...

Тогда б
я не сумел понять,
что это значит:
свет в окне.
Как это можно:
спать
взасос
и говорить не о еде,

и слышать на сковороде
урчание
 яичных солнц.
Ходить спокойно по земле
и в булочной очередной,
румяным пальцем тыча в хлеб,
брезгливо спрашивать:
«Дневной?»
И возмущаться,
а потом
почти что половину дня
крикливо выбирать батон,
плохую выпечку
кляня.
Устроить за день сто шумих,
ругая нервных продавцов...

Тогда
 мы жили в Омске.
Жмых
для нас был слаще
 леденцов.

В СОРОК ЧЕТВЕРТОМ

Везет
 на фронт
 мальчика
товарищ военный врач...
Мама моя,
мамочка,
не гладь меня,
не плачь!
На мне военная форма, —
не гладь меня при других!
На мне военная форма,
на мне
 твои сапоги.
Не плачь!
Мне уже двенадцать,
я взрослый
почти...
Двоятся,
 двоятся,
 двоятся
рельсовые пути...

В кармане моем документы, —
 печать войсковая строга.
 В кармане моем документы,
 по которым
 я — сын полка.
 Прославленного,
 гвардейского,
 проверенного в огне...
 Я еду на фронт.
 Я надеюсь,
 что «браунинг» выдадут мне.
 Что я в атаке
 не струшу,
 что время мое пришло.

Завидев меня,
 старухи
 охают тяжело:
 «Сыночек...
 Солдатик маленький...
 Вот ведь
 настали дни...»
 Мама моя,
 мамочка!
 Скорей им все объясни!
 Скажи,
 чего это ради
 они надо мной ревут?
 Зачем

 они меня гладят?
 Зачем сыночком
 зовут?
 И что-то шепчут невнятно,
 и темный суют калач...

Россия моя,
 не надо!
 Не гладь меня!
 И не плачь!
 Не гладь меня!
 Я просто
 будущий сын полка.
 И никакого геройства
 я не совершил
 пока!

Зрелость так и начинается —
в самом близком,
в самом простом.
То, что нам
легко вспоминается,
мы забыть успеем потом.
Принимая пустяки
за значительное,
мы в недавнем
разобраться хотим.
Наша память —
как стекло увеличительное,
сквозь нее
в самих себя мы глядим...
И читаем книги
спорные,
длинные, —
достигаем знаменитые умы.
И проходим
под распластанными ливнями,
деловитые,
острящие, —
мы!
Мы шагаем в институты знакомо,
то грустим,
а то впадаем в восторг.
И вручают нам путевки
в райкомах,
и везут нас поезда
на восток.
Собираемся на Марс,
бредим звездами,
не завидуем
попавшим на филфак...
А мемуары писать
пока не рвемся мы.
Это правда.
Это точно.
Это — факт!..
И одно наверняка уже знаю я:
вслед за мелким,
за пустым,
за неясным
настоящие
придут воспоминания!

Настоящие
о самом настоящем!..
А пока мы песни шпарим на морозе
и на судьбу не собираемся пенять...

Чем моложе человек,
чем моложе,
тем он больше
любит вспоминать!

ИГРА В «ЗАМРИ!»

Ю. Овсянникову

Игра в «Замри!» —
веселая игра...
Ребята с запыленного двора,
вы помните, —
с утра и до зари
звенело во дворе:
«Замри!..»
«Замри!..»
Порой из дома выйдешь, на беду, —
«Замри!!» —
и застываешь на бегу
в нелепой позе
посреди двора...
Игра в «Замри!» —
далекая игра,
зачем ты снова стала мне нужна?
Вдали от детства
посреди земли
попробовала женщина одна
сказать мне позабытое:
«Замри!»
Она сказала:
будь неумолим.
Замри!
И ничего не говори.
Замри! —
она сказала. —
Будь
моим!
Моим — и все!
А для других —
замри!

Замри для обжигающей зари,
 Замри для совести.
 Для смелости замри.
 Замри,
 не горячась и не скорбя.
 Замри!
 Я буду миром
 для тебя!..

На нас глядели звездные миры.
 И ветер трогал жесткую траву..
 А я не вспомнил
 правила игры.
 А я ушел.
 Не замер.
 Так живу.

РЕВНОСТЬ

Игру нашли смешную,
 и не проходит
 дня —
 ревнуешь,
 ревнуешь,
 ревнуешь ты меня.
 К едва знакомым девушкам,
 к танцам под баян,
 к аллеям опустевшим,
 к морю,
 к друзьям.
 Ревнуешь к любому,
 к серьезу,
 к пустякам.
 Ревнуешь к волейболу,
 ревнуешь к стихам...
 Я устаю от ревности,
 я сам себе
 смешон.
 Я ревностью,
 как крепостью,
 снова окружен...
 Глаза твои
 колются.
 В словах моих
 злость...

«Когда все это кончится?!
Надоело!
Брось!!»

Я начинаю фразу
в зыбкой тишине.
Но почему-то
страшно
не тебе,
а мне.

Смолкаю запутанно
и молча курю.
Тревожно, испуганно
на тебя смотрю...

А вдруг ты перестанешь
совсем ревновать!
Оставишь,
отстанешь,
скажешь:
наплевать!
Рухнут стены крепости, —
зови
не зови, —
станет меньше
ревности
и меньше
любви...

Этим всем замотан, —
у страха в плену, —
я говорю:
«Чего там...
Ладно уж...
Ревнуй...»

БОГИНИ

В. Аксенову

Давай покинем этот дом,
давай покинем, —
нелепый дом,
набитый скукою и чадом.
Давай уйдем к своим домашним богиням,

* * *

А. К.

Будь, пожалуйста,
 послабее.
Будь,
пожалуйста.
И тогда подарю тебе я
чудо
 запросто.
И тогда я вымахну —
 вырасту,
стану особенным.
Из горящего дома вынесу
тебя,
сонную.
Я решусь на все неизвестное,
на все безрассудное, —
в море брошусь,
 густое,
 зловещее, —
и спасу тебя!..
Это будет
 сердцем велено мне,
сердцем велено...
Но ведь ты же
 сильнее меня,
 сильней
и уверенней!
Ты сама готова спасти других
от уныния тяжкого.
Ты сама не боишься ни свиста пурги,
ни огня хрустящего.
Не заблудишься,
 не утонешь,
зла не накопишь.
Не заплачешь
 и не застонешь,
если захочешь.
Станешь плавной
 и станешь ветреной,
если захочешь.
Мне с тобою —
такой уверенной —
трудно
 очень.

Хоть нарочно,
хоть на мгновенье, —
я прошу,
робея:
помоги мне в себя поверить,
стань
слабее.

ЛИВЕНЬ

Аленке

— Погоди!.. —

А потом тишина и опять:

— Погоди...

К потемневшей земле

неподатливый сумрак прижат.

Быют по вздувшимся почкам

прямые, как правда,

дождя.

И промокшие птицы

на скрюченных ветках дрожат...

Ливень мечется?

Пусть.

Небо рушится в ярости?

Пусть!

Гром за черной горою

протяжно и грозно храпит..

Погоди!

Все обиды забудь.

Все обиды забудь...

Погоди!

Все обиды забыл я.

До новых

обид...

Хочешь,

высушу птиц?

Жарким ветром в лесах просвищу?

Хочешь,

синий цветок принесу из-за дальних морей?

Хочешь,

завтра тебе

озорную зарю посвящу.

Напишу на заре:

«Это ей

посвящается.

Ей...»

Сквозь кусты продираясь,
 колышется ливень в ночи.
 Хочешь,
 тотчас исчезнет
 свинцовая эта беда?..

Погоди!
 Почему ты молчишь?
 Почему ты молчишь?
 Ты не веришь мне?
 Верь!
 Все равно ты поверишь,
 когда
 отгрохочут дожди.
 Мир застынет,
 собой изумлен.
 Ты проснешься.
 Ты тихо в оконное глянешь стекло
 и увидишь сама:
 над землей,
 над огромной землей
 сердце мое,
 сердце мое
 взошло.

ЖИЗНЬ

Г.П. Гроденскому

Живу, как хочу, —
 светло и легко.
 Живу, как лечу, —
 высоко-высоко.
 Пусть небу
 смешно,
 но отныне
 ни дня
 не будет оно
 краснеть за меня...
 Что может быть лучше —
 собрать облака
 и выкрутить тучу
 над жаром
 песка!
 Свежо и громадно
 поспорить с зарей!

Ворочать громами
над черной землей.
Раскидистым молниям
душу
открыть,
над миром,
над морем
раздольно

парить!

Я зла не имею.
Я сердцу не лгу.
Живу, как умею.
Живу, как могу.
Живу, как лечу.
Умру,
как споткнусь...

Земле прокричу:
«Я ливнем
вернусь!»

НА ПЛЕСЕ

На плесе,
на плесе
немеешь от восторга.
Хотя мы
на плесе
лишь гости.
И только..
Я в танце как в смерче
витаю,
отчаясь..
Все меньше,
все меньше
за себя ручаясь!..
Язык полунамеков,
где все еще —
в наметках,
где всхлипы
оркестра
и легкое кокетство.
Шуршащие нейлоны
и парни,
как лорды!

И ревность,
и мука,
и вихревая музыка.
Заманчивые плечи,
разбитые надежды...
Да что ж это?
Да где ж я?
На плесе.

На плесе.
На плесе —
спокойно...

А мамы,
а мамы
забыто и туманно
на плес глядят с балкона.
Испуганно и чутко
застыли в движенье:
«Ну, как моя дочурка?
Как там
Боженка?!
Парень с нею нежен, —
ни на кого не смотрит...
Приятно,
конечно...

Но молод.
Молод!..
Утощает рьяно...
Да что уж там!
Ладно...

Но замуж ей рано!
Рано!
Ой, рано!..
Ее я,
наверно,
предупреждала мало...»

Скажу вам откровенно,
товарищи мамы:
благие возраженья
отвергнуты отважно.
Теперь уже Боженка
не ваша,
не ваша!

Теперь уже не спросит,
не спросит,

не скажет...

А все будет проще:

однажды,

однажды

придут они

вместе, —

от страха чуть живы...

«Мы с Иржи

решили...

Решили...

Не смейся...»

Да где уж там смеяться

(и руки как плети)...

А все было ясно

на плесе,

на плесе.

На плесе,

где жарко,

где музыка роскошна...

Где мы —

только гости.

Вот что мне жалко.

* * *

Полны подвалы Эгера

богатством дорогим.

Полны подвалы Эгера

вином —

да каким!

В подвалах,

как в забое

прохладном и глубоком.

В подвалах,

как в соборе,

где бочки

вместо бога!

А в каждой из бочек

веселье клокочет.

А в каждой

столько свадеб,

что их, пожалуй,

хватит

на пять
тысячелетий!

На сотни
поколений!
Хватит,
достанется,
да еще останется!

А в этих
чанах
до самого верха —
венгерский чардаш
будущего
века!

А в этих
пенится,
крепчая постепенно,
свиданья первые,
рожденья первенца!..

Конечно,
так и будет! —
я слышу не напрасно
размашистые бури
будущих праздников!..
Теперь мы это поняли,
теперь уже
нам верится

и в надпись
(явно спорную) —
«ИН ВИНО —
ВЕРИТАС!»

В этом виноделы
понимают толк...

Но что же ты наделал,
медок,
медок?!
Стаканы

вновь полные.
Каблуки —
дробью!..

Что дальше —
не помню.
При всем моем

здоровье.

ЧАРДАШ

Ходит пол
 ходуном, —
 танцуют венгры.
 На раздолье степном
 разгулялись ветры...
 А скрипач, —
 ай, скрипач!
 Ах, дьявол!! —
 к скрипке
 прикишел-припал
 плечом окаянным!
 Он так придумал,
 так захотел,
 так приказал он...
 Скрипки бешеная метель
 бушует по залу!..

Проходит девушка одна,
 хрустя
 юбкой.
 На всех посматривает она
 легко и юно.
 Чего, мол,
 ты застыл, чудак, —
 стоишь смирно.
 Я просто так,
 просто так
 нду
 мимо...
 Я, может,
 еще раз взгляну,
 пожму плечами...

И вдруг, —
 повернувшись ко мне:
 «А ну,
 станцует чардаш!»
 И вот пошло!
 И вот началось!
 Закружилось!
 И вот над нами
 две тысячи гроз
 ахнули,
 ширясь!..

ВЗРОСЛЕЮТ ЛЮДИ

Мальчики

пьют не на свои.

На чужие пьют.

На папашины...

Глазки у мальчиков —

запавшие.

Губы —

цвета выжженной земли.

Ресторанный стол

от еды ломится.

Ресторанный пол

от беготни кренился.

Мальчики

шалым вином греются.

Основательно пьют.

Не торопятся.

На тарелочках

желтеет жирно семга.

Разгулялись мальчики

во всю ивановскую!

Говорят официанту:

— Ша, Сема!

Мы сегодня при деньгах,

неси шампанское!.. —

Говорят официанту:

— Брось жалеть!

Коньяку тащи!

Подсыпь на пятак... —

Мальчики

решили взрослеть...

А взрослеют

люди не так.

Не в вине, не в лихорадочной мгле,

не в чахоточном дыму папирос.

Люди взрослеют

на земле,

мокрой

от рокочущих гроз!

Взрослеют люди,

понимая простор.

Возвращаются

встречать свой рассвет,

повзрослев на полках
 дальних поездов,
 повзрослев на скалах
 ближних планет.
 Взрослеют люди
 на распевах крутом.
 Взрослеют,
 сердце для других разбросав...
 И не пьют?
 Да нет — пьют!
 Дело не в том.
 Дело в бóльшем.
 Дело в честных глазах...
 Ладно, мальчишки!
 Гулять — так до зари.
 Пусть над вами
 люстры звякают хруско...
 Мальчишки
 пьют не на свои.
 Задолжали сами себе.
 Крупно!

ТВОРЧЕСТВО

Э. Неизвестному

Как оживает камень?
 Он сначала
 не хочет верить
 в правоту резца...
 Но постепенно
 из сплошного чада
 плывет лицо.
 Верней —
 подобие лица.
 Оно ничье.
 Оно еще безгласно.
 Оно еще почти не наяву.
 Оно еще
 безропотно согласно
 принадлежать любому существу.
 Ребенку,
 женщине,
 герою,
 старцу...

Так оживает камень.
Он —
 в пути.
Лишь одного не хочет он:
остаться
таким, как был.
И дальше не идти...
Но вот уже
 с мгновением великим
решимость Человека сплетена.
Но вот уже
 грудным, просящим криком
вся мастерская
до краев полна:
«Скорей!
 Скорей, художник!
Что ж ты медлишь?
Ты не имеешь права
 не спешить!
Ты дашь мне жизнь!
Ты должен.
Ты сумеешь.
Я жить хочу!
Я начинаю
 жить.
Поверь в меня светло и одержимо.
Узнай!
Как почку майскую, раскрой.
Узнай меня!
Чтоб по гранитным жилам
пошла
 толчками
 каменная кровь.
Поверь в меня!..
Высокая,
живая,
по скошенной щеке
 течет слеза...
Смотри!
Скорей смотри!
Я открываю
печальные
 гранитные глаза.
Смотри:
я жду взаправдашнего ветра.

В меня уже вошла
 твоя весна!..»
 А человек,
 который создал
 это,
 стоит и курит около окна.

АРКАДИЮ РАЙКИНУ

Ваш выход, артист.
 Ваш выход.
 Забудьте
 усталость и робость...
 Хотя не для вас ли вырыт
 зал,
 бездонный, как пропасть?
 И вам по краю,
 по краю,
 по очень опасной грани,
 по грани,
 как по канату,
 с улыбкой двигаться надо...
 Ваш выход, артист..

Вы сами
 не создавайте иллюзий,
 что люди,
 сидящие в зале, —
 сплошь
 достойные люди.
 Конечно, достойных гораздо
 больше, —
 куда ни взгляни.
 Все это так.
 Но разве
 ждут вас
 только они?..
 Вот эти, —
 которые в третьем, —
 они вас встретят истошно,
 они вас овацией встретят!
 Но вы же знаете точно:
 они от безделья
 лечатся, —

на прочее им наплевать, —
они пришли

поразвлекся,
животики надорвать...

А вот,

ожидая шуток, —
самодовольства полон, —
сидит

почтеннейший жулик,
который пока
не пойман.

Он будет во время вечера
брюзжать, что в зале

жара...

Так что ж вы здесь,
вроде веера?..

Ваш выход, артист.

Пора...

Зал

покашлял внушительно
и трепетно замолчал...

Да здравствует
оглушительная
ненависть к сволочам!

Во весь разворот
без остатка,

высокое слово,

трудись!..

Пора...

Поднимайтесь в атаку.

Ваш выход,

товарищ артист!

ОКНА, КОТОРЫЕ НАРИСОВАНЫ

Владимиру Резвину

Вот на доме

потемневшая охра.

И от этого сразу же заметнее
неживые,

нарисованные окна —

с настоящими рядом.

Для симметрии...

Ходят по улицам
люди
возраста моего.
В Лондоне и в Париже
замашки у них одни.
Свое поколение
лишним
всерьез
называют они.
Они вас считают
знаменем
неверия и порока.
Они вас считают
снадобьем
и даже чуть-чуть
пророком.
Пророки обычно безжалостны,
но я не под богом
рос...
Ответьте, пророк, пожалуйста,
на очень нестранный
вопрос:
кому вы
все ж таки
лишние,
парни,
нарочно небрежные?
Девчонки,
модно подстриженные,
не слишком гордые,
грешные?
Зачем ваши души
выданы
в липкие лапы молвы?
Кому это все ж таки
выгодно,
чтоб лишними
были вы?
Чтоб вы обо всем
забывали?
Чтоб жизнь вам казалась
тесною?
Чтоб вы
вином запивали

песню,
 лишь с виду дерзкую:
 «Мы
 лишние.
 Мы неумные.
 Нас понимает
 любой!
 Политики
 не признаем мы,
 а признаем любовь!
 Рабы
 разгулявшейся плоти,
 мы —
 лишнее поколение —
 унылое чувство
 локтя
 сменили
 на чувство колена.
 Мы лишние,
 лишние,
 лишние!
 Лишние ночью и денно!..»
 Конечно,
 все это —
 личное,
 личное ваше дело...
 Но вот
 к небрежному парню
 неумолимо и веско
 однажды —
 для вящей памяти —
 ляжет на стол
 повестка.
 «Я лишний...
 Не надо!
 Я лишний...
 С политикой я не знаком».

Но рывкнет фельдфебель рыжий:
 — Прр-р-рямо-о!
 Бегом!! —
 А через пару суток
 в очень серьезный день
 парню
 дадут подсумок,

в котором —
сорок смертей.

Потом поведут —
погонят
(он будет не лишним
в строю!).

И пуля его уколет
в Африке,
в первом бою...
Над высушенной гвоздикой
прошебаршит гром.

И на песок
тихий

тихо
вытечет кровь.

Станет сердце
неслышным.

Небо застынет в глазах..

«Не надо...
Ведь я же
лишний...» —
успеет парень
сказать.

Но будет
грохотом танка
в землю
давлена фраза!

И все оборвется...

Так-то,
уважаемая Франсуаза.

А где-то
в своем Париже,
которого не повторить,
станет девчонка стриженная
лишние слезы
лить.

Лишними станут подруги,
лишним покажется март,
лишними станут руки,
привыкшие обнимать.
Будет войной зачеркнут
ее молчаливый Жан...

Мне жалко
эту девчонку.

тихо грезится:
 они опять
 на солнце греются.
 Они опять необходимы.
 И снова
 терпко пахнут пряности,
 и туча гроыхает вешняя,
 и караван шагает вежливо
 дорогой слез,
 дорогой радости...
 И вновь стерня сухая
 колется,
 и суженые вновь прощаются.
 Храпящая
 проходит конница,
 с подковами
 теряя счастье...
 Дороги грезят,
 опечалены
 несбыточностью этих снов...
 А в каменную пыль впечатаны
 следы босых
 дубленых
 ног!
 Дороги длинные, протяжные
 насыпаны и захоронены...
 Над ними
 города построены.
 Легла земля слоями тяжкими.
 Большое солнце
 светит ласково,
 гудроны по земле распластаны.
 Мерцают
 рельсовые лезвия...

 Им хорошо.
 Они —
 железные.

ВЕЧЕР В ГОРАХ

М. Джангазиеву

Вечер неудержимо
 движется туда,
 где в солнце вцепилась вершина
 сумрачного хребта.

Вцепилась угластыми склонами,
 замкнула на сто замков
 скрюченными,
 холодными
 пальцами ледников.
 Переливается медно...

Но вечеру
 не до игры.
 Он подступает медленно
 к самому горлу горы.
 Он тихий,
 он мягкий, как олово...

И, грузные веки смежив,
 засыпает гора,
 под голову
 облако положив.

ПАМЯТНИК ПРЖЕВАЛЬСКОМУ

А. Салиеву

Пыль
 спокойно и жирно
 на дорогах прожаренных
 млеет...

Даже горы стареют.
 Даже вечные горы —
 в морщинах.
 Даже скалам бессменным
 все чаще
 мерещатся грозы...

Я узнал,
 что бессмертен
 орел,
 ставший мертвою бронзой!
 Я узнал,
 что нередко,
 высотой ледниковой натешась,
 на него заглядевшись,
 замолкают
 падучие реки...

Мы порою орем
 о смешных,
 пустяковых обидах...

Как он вникает в каждую подробность!
 И видит все.
 И ненавидит робость!
 Стремительность и слаженность приветствия,
 он сердцем отмечает

каждый промах.

Когда ж он произносит
 слово веское,
 то это страшней,
 чем грохот грома!

Действительно, ничем неудержимо...
 Как он тогда клокочет и дымится,
 похожий на взрывчатку,
 на пружину,
 готовую в секунду распрямиться!
 До самого конца не затихает...

...А вы видали,
 как он отдыхает?
 Вы пробовали
 на него взглянуть,
 когда полночный город
 успокоится?..

Спит стадион,
 в тугой клубок свернув
 трибунные
 натруженные кольца.

ПОД ВОДОЙ

С головою накрыла,
 понесла,
 закружила волна...

И меня обступила,
 обняла тишина,
 тишина...
 Запотевшая маска.

Прохладная
 синяя жуть...

Обитателем
 Марса
 себе самому я кажусь.
 Можно быть невесомым,
 можно птичий полет повторить.

Можно тихо и сонно
в бездонном пространстве
парить.

Можно весело ринуться
в темноватую,
длинную глубь
и руками зарыться
в сплетенье невиданных клаумб...
Здесь колышутся водоросли
медленно,
не торопясь...
Можно

в заросли пестрые,
как в свежее сено,
упасть!
Здесь ни всплеска,
ни всхлипа, —

тишина
говорить не велит...
Онемевшая рыба
губами слегка шевелит.
Камни в рыжих крапаках, —
лоснящиеся бока.
Царство

медленных крабов,
неслышное царство песка.
Одиноко и тускло
мелькнула кефаль в стороне.
Виснет льдышка медузы,
покорная тишине.
Тишина

нарастает.
Тишина за спиною встает.

Мне здесь грохота
не хватает!
Мне ветра
недостает!

РЫБАКИ

С. Красаускас

Что вы ловите,
рыбаки?
Что ловите?..

в каждой капле отражаясь,
в каждой жизни...
Может, скажут:
«Ты ловить не умеешь!
Не всегда тебе
терпенья хватает...»
Нет, поймите, —
мне надоела мелочь,
мелочь!
А где —
она?
Где моя рыбка
золотая?
Где она —
неповторимая —
хоронится?
На какой такой глубине опасной?
Как вам ловится,
рыбаки?
Как ловится?
Я желаю вам удачи.
Удачи рыбацкой.



«РОВЕСНИКУ»

1962

* * *

Нахожусь ли в дальних краях,
ненавижу или люблю, —
от большого,
от главного
я —
четвертуйте —
не отступлю.
Расстреляйте —
не изменю
флагу
цвета крови моей.

Эту веру я свято храню
девять тысяч
нелегких дней.
С первым вздохом,
с первым глотком
материнского молока
эта вера со мной.

И пока
я с дорожным ветром
знаком,
и пока не сгибаясь
хожу
по не ставшей пухом земле,
и пока я помню о зле,
и пока с друзьями дружу,
и пока не сгорел в огне,
эта вера
будет жива.

Чтоб ее уничтожить во мне,
надо сердце убить
сперва.

СЫН ВЕРЫ

Ю. Могилевскому

Я —
сын Веры...
Я давно не писал тебе писем,
Вера Павловна.
Унесли меня ветры,
напевали мне ветры
то нахально,
то грозно,
то жалобно.
Я — сын Веры.
О, как помогла ты мне, мама!
Мама Вера...
Ты меня на вокзалах пустых обнимала,
мама Вера.
Я —
сын Веры.
Непутевого сына
ждала обратно
мама Вера...
И просила в письмах
писать только правду
мама Вера...
Я —
сын Веры!
Веры не в бога,
не в ангелов, не в загробные штуки!
Я —
сын веры в солнце,
которое хлещет
сквозь рваные тучи!
Я —
сын веры в труд человека.
В цветы на земле обгорелой.
Я —
сын веры!
Веры в молчанье
под пыткой!
И в песню перед расстрелом!
Я —
сын веры в земную любовь,
ослепительную, как чудо.

Я —
 сын веры в Завтра —
 такое, какое хочу я!
 И в людей,
 как дорога, широких!
 Откровенных.
 Стоящих...

Я —
 сын Веры,
 презираю хлюпиков!
 Ненавижу плаксивых и стонущих!..
 Я пишу тебе правду,
 мама Вера.
 Пишу только правду...
 Дел — по горло!
 Прости,
 я не скоро
 вернусь обратно.

ПЕРЕД РАССТАВАНИЕМ

Я к тебе приеду поездом,
 так, чтобы не знала ты.
 На снегу весеннем
 пористом
 проторчу до темноты.
 В дверь звонить не стану бешено,
 а, когда вокруг темно, —
 я тихонечко и бережно
 стукну
 в низкое окно.
 Ты в окошко глянешь боязно,
 я сильнее постучу..
 Нет!
 Я не поеду
 поездом!
 Самолетом прилечу.
 Да!
 Конечно!
 И немедленно,
 опалев от маяты,
 позвоню из Шереметьева
 и в ответ услышу:

«Ты?!
Где?
Откуда?
Что ж ты мучаешь?!
Как приехал?!
Не пойму...»

И тогда
 машину лучшую
я до города возьму.
Полетит дорога по лесу,
упадет
 к ногам твоим...

Мне остался час
до поезда,
а мы
 о встрече говорим.

ЗАСУХА

— Развесели,
хоть чем-нибудь развесели...

— Смотри:
дожди не долетают до земли...
Не долетают,
вянут в мареве густом...

— Да не о том ты!
Вовсе не о том!
Я это слышу сорок дней подряд —
ты лучше о другом...

— Хлеба горят...

— Придумай сказку с радостным концом!
Пусть девушка с веснушчатым лицом
придет, как шум дождя,
как ветра шум...

Придумай сказку —
я тебя прошу...
Пусть хлебом пахнет,
 теплым,
 аржаным...

Придумай...

— Сумасшедшая жарынь!
Такой горячей,
 медленной реки
кудлатые не помнят старики...

— Развесели!
Развесели хоть чем-нибудь!..

— Сухую землю
 трактора скребут.
Так светит солнце,
что в глазах
темно.
Жесткое,
свирепое,
оно
вбивает в пашню
 жесткие лучи...

— Спасибо, друг...
Развеселил.
Молчи.

РАССКАЗ ДИРЕКТОРА РАЙОННОЙ КОНТОРЫ «ЗАГОТЗЕРНО»

Я не встречал за всю свою жизнь
этакой красоты.
Хлеба такие,
 что сверху ложись —
выдержат:
до того густы.
Не верил,
 что все это наяву.
Радоваться б надо,
 а я
выйду в поле,
стою и реву:
«Погибель
 растет моя...»
Вот уж действительно
 дело труба!
Подсудное зреет
дело...
«Растите, хлеба!
 Наливайтесь, хлеба!

Но только
куда ж я вас дену?..»
Тут арифметика не нужна.
Да что я,
разве ослеп?
Да разве в амбарчик «Заготзерна»
влезет
этакий хлеб!
Я ж в город еще зимою писал...
Требовал.
Умолял!
Угрожал!!
А мне в ответ:
нажми,
подтяни.
Нам, дескать, виднее
сверху...
На все мои слезные письма
они
комиссии шлют
для проверки.

...Ну и дождался.
Приехал один
«ответственный»
с бабьим голосом,
десять минут по усадьбе ходил
с видом Шерлока Холмса.
Очень долго в затылке скреб,
морщился недовольно.
Потом подошел ко мне
и изрек:

«Вы
с работы...
уволены...
Развал у вас непростительный...
Сдайте дела
заместителю...»
Я —
к заму.
«Давай, —
толкую ему, —
раз уж такое дело». —
«Нет, —
говорит, —
ни за что не приму.

Чего мне?
Жить надоело?»

Что делать прикажешь?
И тут, на беду мою,
без рассуждений и лишних слов
мы с замом
фамилию просто придумываем
и пишем:

«Контору принял Смирнов».

И —
началось!!
На себя пеняй,
но каждое утро

снова

Смирнову в приказах дают нагоняй,
в крайцентр вызывают Смирнова.
Смирнову весь день за звонком звонок
(мы уж и сами не рады), —
Смирнову — письма,
Смирнову — зарплата...

А я
буквально падаю с ног.
Ты вот смеешься,
а участь моя
была непонятней снов.
Я даже поверил,

что я — не я,

а этот самый
Смирнов...

...Представь:
сентябрь.
Под грузом немалым
машины ревут угрожающе.
И в грохоте,

в ливнях

сплошным навалом

идет
на меня
урожайце!!
Идет необъятный.
Идет полновесный!
И знает:

погибнуть ему не позволим...

Навесы.

Навесы.

Навесы!

Навесы!!

Мы строили их до кровавых мозолей,
за этим делом невиданной спешности
забыв про еду,

про усталость и славу...

Так строят за ночь

в бою

переправу —

с такой же яростью

и неизбежностью!

А если уснешь,

то и сны об одном:

грязь,

перемешанная с зерном.

Фары по окнам.

В глазах круги.

Хлюпающие сапоги...

И снова

нет ни ночи, ни дня!

Снова шагаешь,

погоду кляня.

Снова

охрипшая шоферня

кроет господу

и меня...

Потом я читал —

хвалили в докладе:

Смирнов, мол, отлично работу наладил...

Приехал к нам секретарь крайкома
(мы с ним по фронту еще знакомы).

Узнал.

Подивился смирновской славе,

долго смеялись над ней.

Фамилию в грамоте переправил,

вручил эту грамоту

мне...

Сейчас это странно все,

а тогда

думал:

песенка спета...

что́
 от тебя зависит!
 Скорей!
 Чтоб зимнюю ночь рассекло
 звонком,
 как полоской зари.
 Скорей!
 Чтоб ревела трубка:
 «Алло!!!»
 ...Говори, Москва,
 говори!

ТАЕЖНЫЕ ЦВЕТЫ

Не привез я тасжных цветов —
извини.

Ты не верь,
 если скажут, что плохи
 они.

Если кто-то соврет,
 что об этом читал...

Просто
 эти цветы
 луговым не чета!
 В буреломах
 на кручах
 пылают жарки,
 как закат,
 как облитые кровью желтки.
 Им не стать украшеньем
 городского
 стола.

Не для них
 отшлифованный блеск
 хрусталя.

Не для них!
 И они не поймут никогда,
 что вода из-под крана —
 это тоже вода...
 Ты попробуй сорви их!
 Попробуй сорви!
 Ты их держишь,
 и кажется,
 руки в крови!..

Но не бойся,
цветы к пиджаку приколи.

Только что это?
Видишь?
Лишившись земли,
той,
таежной.
неласковой,
гордой земли,
на которой они на рассвете взошли,
на которой роса
и медвежьи следы, —
начинают стремительно вянуть
цветы!

Сразу гаснут они!
Тотчас гибнут они!..

Не привез
я таежных цветов.
Извини.

ТО, ЧТО ВСТРЕЧАЕТСЯ НА КАЖДОМ ШАГУ

Ходят люди по улицам плавно —
ростом
выше столбов рекламных.
густолистных каштанов выше...

Из каких они сказок
вышли?
Ходят в красных костюмах,
в синих.

Малорослых и слабосильных
высотой своею
дразнят...

У мальчишек в Софии праздник.
У мальчишек
забот по горло
стало нынче
от баскетбола.

Просят у великанов добрых
дать значок им или автограф...

Великаны руками разводят.
Улыбаясь
нежно и робко,

голос
 пробуют моторы.
 Вечером идут на отдых
 катера,
 ветрами терты.
 И в резиновых ботфортах
 рыбаки
 как мушкетеры...
 Ох, уж эта Нида!
 Разве
 покидать ее
 захочешь?
 Нида тишиною дразнит.
 И травинками щекочет.
 Держит Нида каждым дюймо́м,
 наплевав на возраженья...
 И меня
 прижало к дюнам
 невозможным притяженьем!
 Небывалой силы
 небо,
 небывалых красок
 море
 уговаривают нежно,
 чертыхаются крамольно...
 Что такое эта Нида —
 я не знаю.
 Знаю только:
 я за Ни́дою —
 как нитка
 за иголкой!
 Это точно!..
 Здесь нависли глыбы света.
 Здесь любое сердце слышно...
 В общем Нида —
 это...
 Это...
 Надо видеть!
 Лично!

* * *

Невероятное спасибо,
 дюны!..
 Освобожденно кровь стучит в виске.

И тени —
 земные.
 Земная усталость.
 Земные заботы...

Но разве же
 мы на Земле не сгораем
 в вопросах:
 «А что там, за тем поворотом?
 А что там, за лесом?
 А что за горами?
 А что за душою у этого парня?
 А что за улыбкою женщины этой?..»
 Волнуюсь,
 печалюсь,
 недосыпая,
 мы истину ищем.
 Мы ищем ответы!
 Но сами ответы
 звучат как вопросы.
 И месяц
 висит вопросительным знаком...

Как много мы знаем!
 Как мало
 мы знаем.
 Как здорово жить на земле!
 Как непросто!

* * *

А. Балтаку

До самого горизонта
 мерцает зовуще и вечно
 лунная дорога,
 сделанная из слюды...
 А мы шагаем по дюнам.
 Мы вышли в четыре вечера.
 За нами остаются
 глубокние следы...
 Когда же
 мы устанем?
 Никогда не устанем!
 Когда ж мы остановимся?
 Тоже никогда!..

Гул от нашей походки
 ширится,
 нарастает,
 и эхо ударяется
 в грядущие года!..
 Дышит в наши лица
 то зноем,
 то холодом,
 тяжело ворочается
 шар земной!..

А мы шагаем дальше!
 И там,
 где мы проходим, —
 следы остаются
 за нашей спиной.
 Следы остаются —
 великие и простые.
 За нами
 в небо ввинчиваются
 синие думы.

Следы остаются
 в тундрах и пустынях
 садами,
 городами,
 хорошими людьми!..

Следы
 остаются!
 Остаются строки.
 Остается свежесть
 песенной воды!..

И если мы пойдем
 по лунной дороге,
 то и на ней останутся
 наши следы!

* * *

Ю. Марцинкявичусу

Вы как хотите,
 а я за сказкой пойду..
 Там
 разъяренное солнце
 пьют, как лекарство.
 В сказке живу я отныне.

хлынут
 бешеные краски зари!
 Станет синею-пресиней
 вода.
 Дюны вздрогнут,
 круто выгнув хребты,
 будто львицы,
 готовые к прыжку.
 И на каждую из них с высоты
 упадет
 по голубому цветку.
 Пробежит по дюнам ветер,
 и они
 замурлычат,
 перейдя на басы.
 А потом уснут,
 в закат уронив
 желтоватые
 мокрые носы.
 Задевая за тонкие лучи,
 будут птицы над дюнами звенеть...
 И тогда —
 хотите верьте или нет —
 закричу не я,
 а смерть закричит!
 Мелко-мелко задрожит коса в руке.
 Смерть усядется,
 суставами скрипя.
 И заплачет...
 Ей,
 старухе,
 карге,
 жизнь понравится
 больше
 себя!

ТАК И НАДО

Не поможет здесь
 ни песня и ни ласка.
 В доме все воспринимают без обид:
 лишь тогда,
 когда качается коляска,
 мальчик спит...

Слышно:
за стеной соседи кашляют.
Слышно:
ветер
 снег сдувает с крыш.

Я не знаю,
 что врачи на это скажут,
но, по-моему, отлично,
 что малыш,
только именем одним еще отмеченный,
примеряющийся к жизни еле-еле,
ничего пока не видевший,
трехмесячный, —
и уже стоянки
не приемлет.

Так и надо —
он увидит страны разные!
Так и надо —
задохнется на бегу!..

Я с коляски тоже
 начал странствия —
до сих пор остановиться
не могу.

* * *

Я родился —
 нескладным и длинным —
в одну из влажных ночей.
Грибные июньские ливни
звенели,
как связки ключей.
Приоткрыли огромный мир они,
зайчиками прошлись по стене.

«Ребенок
удивительно смирный...» —
врач сказал обо мне.
...А соседка достала карты,
и они сообщили,
 что
буду я не слишком богатым,
но очень спокойным зато.

ты девчоночьих имен
не сохранила.
Разберись в воспоминаниях нечетких...

Жили-были в нашем городе
девчонки.
Длинноноги,
угловаты,
синеоки, —
назначали нам свиданья возле Омки.
Мы

 терялись и зевали —
в жизнь вникали.
Нас мальчишки называли
«женихами».
Пели хитрые мальчишки
злую песню.
Говорилось в ней
о тесте

 и невесте.
Мы шагали через двор,
двора не видя...

Но потом
мы «исполнителей»
ловили!
Заводили их в подъезд
и терпеливо
совершали суд
святой и справедливый...
А с девчонками
вели себя

 не просто,
и по-взрослому
курили папиросы.
А вообще предпочитали
карамели,
потому что
 притворяться не умели.

Мы для них сирень ломали
вдохновенно...

Но это были не романы,
а так...
Новеллы...

Память, память,
 желчь
 и мед —
 напрасно споришь:
 ты ведь даже их имен
 теперь
 не вспомнишь...

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

Может,
 слишком старательно
 я по прожитым дням бегу...

Старые фотографии,
 зачем я вас берегу?
 Тоненькие,
 блестящие,
 гнущиеся, как жесть...
 Вот чье-то лицо пустяшное,
 вот чей-то застывший жест.
 Вот детство вдали маячит,
 кличет в свои края.

Этот надуленный мальчик —
 неужто таким
 был я?!
 Фотограф по старой привычке
 скажет:
 «А ну, гляди:
 отсюда

 вылетит птичка.
 Ты только смирно сиди».
 Он то говорит, что должен, —
 профессиональный тон.
 «Не вылетела?
 Ну что же...
 Ты приходи
 потом».

И мальчишка на улицу выйдет
 и будет думать, сопя:
 «Когда ж эта птичка вылетит?
 Какая она из себя?
 Синяя или оранжевая?»
 И мальчишка не будет спать.

К дому,
 где фотография,
он утром придет опять.
Будет взгляд у фотографа
сумрачен и тяжел.
Он мальчика встретит недобрым:
«А-а,
 это ты пришел!
Шляется тут,
 бездельник,
а ты занимайся с ним...
Не вылетит птичка без денег.
Не вылетит!
Уяснил?»

Паренек уйдет осторожно.
Но, исполнить мечту решив,
он будет копить
на мороженом
сэкономленные
гроши.
Через неделю мальчишка
вернется к дому
 тому.

И опять
не вылетит птичка,
обещанная ему.

И фотограф тогда ответит —
будет голос жесток:
«Нет этой птицы на свете,
пойми ты это, браток.
Я говорю серьезно, —
зря ты птицу искал».

И мальчишка размажет
 слезы
соленые
по щекам.
Покажется маме
на диво
смешною его беда,
что птичка из объектива
не вылетит
никогда...
Он будет плакать.

Не скоро
он забудет свою мечту.

А потом он окончит школу.
А после пойдет в институт.
Поймет он,
 как слово
 дорого.

Повзрослеет.
Выйдет в отцы.

И все же
 не будет любить
фотографов
за то, что они...
лжецы.

КОНЦЕРТ

Сорок трудный год.
Омский госпиталь...
Коридоры сухие и маркше.
Шепчет старая нянечка:
«Господи!..
До чего же артисты
 маленькие...»

Мы шагаем палатами длинными.
Мы почти растворяемся в них
с балалайками,
 с мандолинами
и большими пачками книг...
Что в программе?
В программе — чтение,
пара песен
военных, правильных...

Мы в палату тяжелораненых
входим с трепетом и почтением...
Двое здесь.
Майор артиллерии
с ампутированной ногой,
в сумасшедшем бою
 под Ельней
на себя принявший огонь.
На прищельцев глядит он весело...

И другой —
до бровей забинтован, —
капитан,
таранивший «мессера»
три недели назад
над Ростовом...
Мы вошли.
Мы стоим в молчании...
Вдруг
срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
объявляет начало концерта.
А за ним,
не вполне совершенно,
но всюю запеваляе внималя,
о народной поем,
о священной
так,
как мы ее понимаем...
В ней Чапаев сражается заново,
краснозвездные мчатся танки.
В ней шагают наши
в атаки,
а фашисты падают замертво.
В ней чужое железо плавится,
в ней и смерть отступать должна.
Если честно признаться,
нравится
нам
такая война...
Мы поем...
Только голос летчика
раздается.
А в нем — укор:
«Погодите...
Постойте, хлопчики...
Погодите...
Умер
майор...»
Балалайка всплеснула горестно.
Торопливо,
будто в бреду...
...Вот и все
о концерте в госпитале
в том году.

* * *

— Почем фунт лиха?
 — Не торгую
 лихом.

Дверь в детство открывается со скрипом.
 В который раз
 мне память подсказала
 пустынную дорогу до базара.
 А на базаре

шла торговля

лихом!

Оно в те годы
 называлось жмыхом.
 Сырыми отрубями называлось
 и очередью длинной

извивалось.

Оно просило сумрачно и сонно:

— Куплю буханку
 за четыре сотни...

— Меняю сапоги
 на поллитровку...

Оно

шагами мерило дорогу.

В дома входило,
 улиц не покинув,
 то строчкою:
 «Оставлен город Киев...»
 То слишком ясной,
 слишком неподробной
 казенною

бумагой похоронной.

И песни вдовьи
 начинались тихо:

«Ой, горюшко!..

Ой, лишенько!..

Ой, лихо!..»

Глазами мудрецов
 смотрели дети.

Продать все это?
 За какие деньги?
 Кто их чеканит?
 Из чего чеканит?

Кто радости от горя
отсекает?..

Да, люди забывают о потерях.
Обманы терпят.
И обиды терпят.
Да, пламя гаснет.
Стоны затихают.
И даже вдовьи слезы
высыхают.
И снова людям
новый век отпущен.

Но память
возвращается к живущим.
Приходит память,
чтобы многократно
перехлестнуть календари
обратно.

Она в ночи плывет над головами
и говорит неслышными словами
о времени
суровом и великом.

Я помню все.
Я не торгую
лихом.

* * *

А. Флярковскому

Голос начищенной меди,
ты в детство зовешь меня.
Туда,
где сады соседей
обшаривала ребятня.
Туда, где, от пыли
желт,
полк через город
шел.

А мы, уяснив для себя
значение этого факта,
от зависти черной сопя,
смотрели на музыкантов.
Они нам казались
богами,
поющими песню свою.

настанет мой черед.
 Я упаду на камни
 и, уходя во тьму,
 усталыми руками
 землю обниму...

Хочу,
 чтоб не поверили,
 узнав,
 друзья мои.
 Хочу,
 чтоб на мгновение
 охрипли соловьи!
 Чтобы,
 впадая в ярость,
 весна по свету шла...

Хочу, чтоб ты
 смеялась!
 И счастлива была.

РЕКИ ИДУТ К ОКЕАНУ

Реки Сибири,
 как всякие реки,
 начинаются
 ручейками.
 Начинаются весело,
 скользкие камни
 раскальвая, как орехи...
 Шальные,
 покрытые пеной сивой, —
 реки
 ведут разговор...

Но вот наливаются
 синей силой
 тугие мускулы волн!
 Реки —
 еще в становленье,
 в начале,
 но гнева их страшится тайга, —
 они на глазах взрослеют,
 плечами
 расталкивая берега.

Они вырастают из берегов,
 как дети
 из старых рубах...
 В песок не уйдя,
 в горах не пропав,
 несут отражение облаков...
 Смотрите:
 им снова
 малы глубины!
 Они нараспев текут.
 Они уже запросто
 крутят турбины.
 Плоты на себе волокут!
 Ворчат
 и закатом любят медным,
 а по ночам
 замирают в дреме...
 Становятся
 с каждым пройденным метром
 старше и умудренней.
 Хотя еще могут,
 взорвавшись мгновенно
 и потемнев,
 потом
 тряхнуть стариною!
 Вздуться,
 как вены,
 перетянутые жгутом!
 Но это —
 минутная вспышка...
 А после,
 освобождаясь от невидимых пут,
 они застывают
 в спокойной позе
 и продолжают путь.
 То длинной равниной,
 то лесом редким, —
 уравновешенные и достойные, —
 реки — легенды,
 реки — истории,
 красавицы и кормилицы —
 реки.
 И солнце восходит.
 И вянут туманы...

Свое отслужив,
 отзвенев,
 отказав,
 реки
 подкатываются к океану,
 как слезы к глазам.

КРИК РОДИВШИХСЯ ЗАВТРА

Все казалось обычным.
 Простым..
 Но внезапно,
 зовя и звеня,
 крик
 родившихся завтра,
 родившихся завтра,
 ворвался в меня!
 Слышу я:
 по Земле,
 качаясь, как в зыбке,
 не боясь ни черта,
 краснощеко и весело
 горланят язычники —
 нам
 не чета!
 Я их вижу —
 мне время тех дней не застит,
 не прячет во мгле.
 Я их вижу:
 широких,
 красивых,
 глазастых
 на мудрой Земле!..
 Я их вижу,
 порою таких же усталых,
 как в мои времена.
 Но они
 даже звездам поклоняться не станут
 (а не то что чинам!)..
 Крик
 родившихся завтра,
 как сигнал на поверку,
 сердцем ловлю...

Кройте!
 Кройте,
 родные мои Человеки.
 Я вас очень люблю.
 Матерям не давайте покоя!
 Кричите!
 Кричите!
 Все простится потом...
 Я вас так люблю,
 как любят мальчишки
 босиком
 бродить под дождем!
 Я вас так люблю,
 как влюбленные любят
 сумрак лесов...
 Я вас так понимаю,
 как усталые люди
 понимают сон...
 Я мечтаю о вас.
 Ожидаю вас жадно
 ночи
 и дни.
 Крик
 родившихся завтра,
 родившихся завтра,
 поскорей зазвени!

ТЕЛЕГРАММЫ

Неужели ты такая же, как эта?..
 За окном звенит разбуженное лето.
 Нас хозяйка дома
 в гости пригласила.
 Ничего не скажешь,
 да,
 она красива.
 Да, красива.
 Мы об этом ей сказали...
 И она глядит глубокими глазами,
 чуть раскосыми,
 зелеными, сухими.
 Муж ее какой-то физик или химик.
 И слова ее доносятся как эхо:

«Он сейчас в командировке...

Он уехал...»

Никакой я тайны выдать не рискую —
телеграмму он прислал:

«Люблю.

Тоскую».

И еще одну:

«Тоскую.

Жду ответа».

Неужели ты такая же, как эта?..

Вот сидит она —

красивая, — не спорю.

Вот сидит она,

довольная собою.

И смеется,

и меняется мгновенно.

А глаза ее

предельно откровенны!

А глаза ее играют,

завлекая,

общая,

предлагая,

намекая...

Никогда ханжой я не был, —

слышишь — не был!

Но сейчас поверю я

в любую небыль —

в наговоры,

в сплетни,

в выдумку любую.

Телеграмму я послал:

«Люблю.

Тоскую».

И еще одну:

«Тоскую.

Жду ответа».

Неужели ты такая же, как эта?..

Мы молчим и курим.

Тихо тянем пиво.

А хозяйка говорит:

«Совсем забыла!

Я сейчас...»

